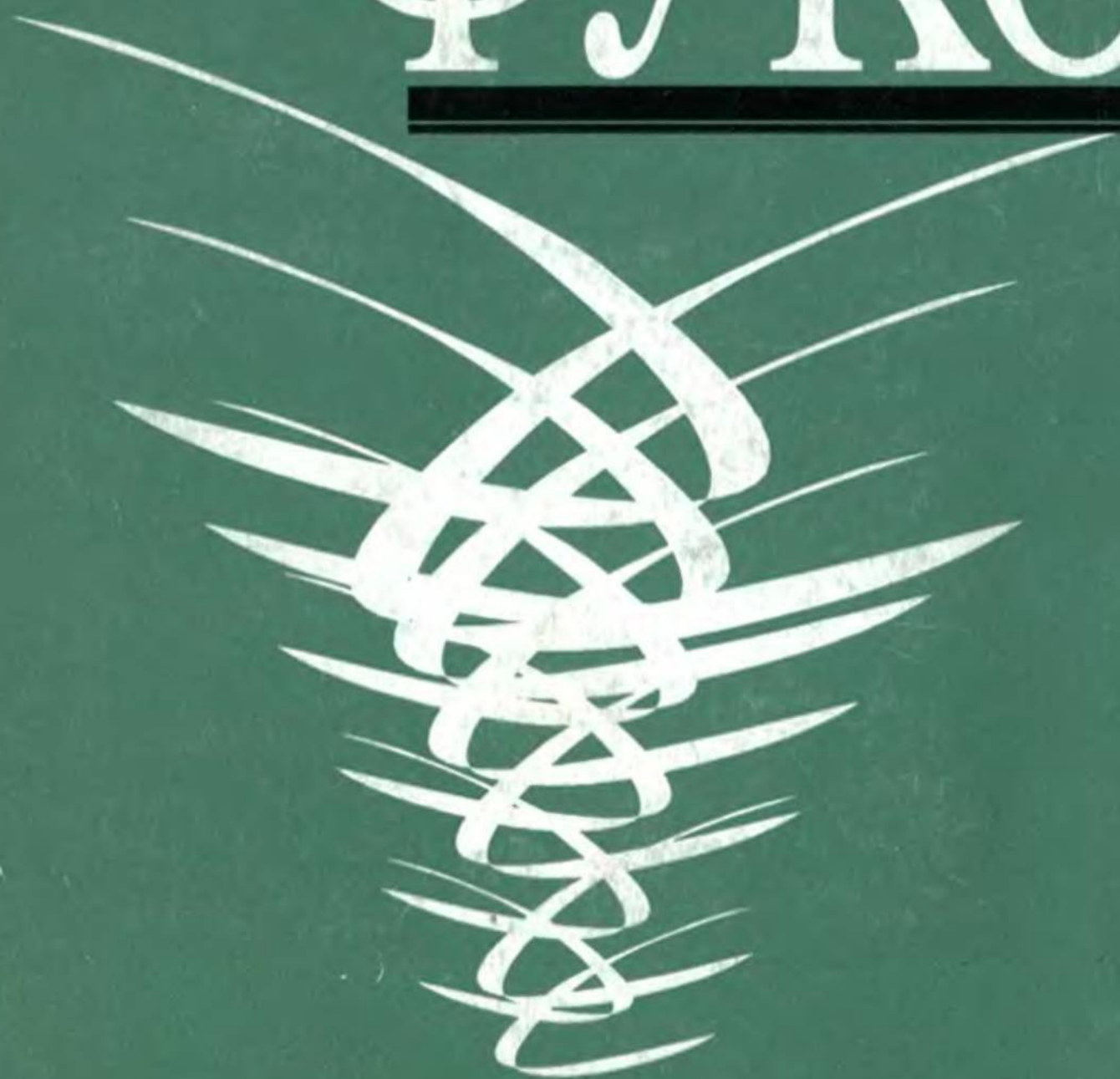


ФРАНЦУЗСКАЯ



ФИЛОСОФИЯ XX ВЕКА

Жиль
ДЕЛЁЗ
ФУКО



Gilles

DELEUZE

FOUCAULT

Жиль ДЕЛЁЗ

Ф У К О

Перевод с французского
Е.В. Семиной

Москва
Издательство гуманитарной литературы
1998

УДК 1/14
ББК 87.3
Д 29

Серия "Французская философия XX века"
Руководитель серии — В.А. Никитин

*Издание осуществлено
при поддержке Министерства иностранных дел Франции
и Французского культурного центра в Москве*

Ответственный редактор
доктор филологических наук, профессор
И.П. Ильин

Делёз Ж.
Д 29 Фуко / Пер. с франц. Е.В. Семиной. Вступит. статья
И.П. Ильина. — М.: Издательство гуманитарной
литературы, 1998 (Французская философия XX века).
172 с.

ISBN 5-87121-013-9

Это книга одного известного и яркого философа о другом, еще более известном и ярком. Она представляет комплекс разнородных идей, где усвоение и дальнейшее развитие концепций Фуко предстает через призму их изложения и одновременно переосмысливания в духе исканий Делёза.

Для студентов и преподавателей вузов, историков философии, а также широкого круга читателей, интересующихся культурой Франции XX века.

Д 0301080000-01
6с(2)03-97

ББК 87.3

ISBN 5-87121-013-9

© 1986 Les Éditions de Minuit
© Е.В. Семина, перевод
на русский язык, 1998.

СОДЕРЖАНИЕ

И.П. Ильин

Два философа на перепутье времени

6

Жиль Делёз

Фуко

Предисловие

20

От архива к диаграмме

22

Новый архивариус

22

Новый картограф

46

Топология: мыслить по-иному

72

Страты, или Исторические формации:
видимое и высказываемое (знание)

72

Стратегии, или Нестратифицируемое:
мысль извне (власть)

97

Складки, или Внутренняя сторона мысли
(субъективация)

124

Приложение

О смерти человека и о сверхчеловеке

160

И.П. Ильин

Два философа на перепутье времени

— Как? Вы уверены в том, что сами пишете?

Фуко М. Археология знания. Киев, 1996, с. 19.

Перед нами книга одного известного и яркого философа о другом, еще более известном и ярком. Это дань признательности и уважения ученика к своему учителю, с которым они вместе много работали над общими проектами, в частности, над подготовкой к печати полного собрания сочинений Ницше на французском языке, участвовали в "Группе информации о тюрьмах", пытавшейся давать объективную информацию о положении заключенных в тюрьмах, много писали друг о друге и всегда благожелательно. Короче говоря, это книга Жюль Делёза о Мишеле Фуко.

Мишель Фуко (1926—1984) на сегодняшний день, очевидно, самый известный и, несомненно, один из наиболее влиятельных мыслителей XX века. В течение своей относительно недолгой творческой карьеры он продемонстрировал заметный и неоднократный сдвиг исследовательских интересов от вопросов более или менее философского характера к проблемам широкого культурологического плана и в конечном счете создал впечатляющую концепцию культуры и методики ее анализа, которые оказали сильнейшее воздействие как на современное представление о механизме функционирования цивилизации, так и на современную западную литературную критику постструктуралистской ориентации. Его концепции "разрыва", "дискретности истории", "эпистемы", "архива", "власти",

"смерти субъекта", "дисциплинарной всеподнадзорности", влияния "дискурса сексуальности" на становление субъекта вызывали и до сих пор вызывают полемику и дискуссии, опрокидывая традиционные представления и активно будя творческую мысль как его сторонников, так и оппонентов.

Не менее популярной личностью является и Жиль Делёз. Вместе с Феликсом Гваттари он написал в 1972 г. скандально известную книгу "Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип"¹, где был подвергнут резкой критике Эдипов комплекс как олицетворение репрессивного духа буржуазных семейных отношений, как символ столь же репрессивной идеологии капитализма. Другой книгой, получившей широкий резонанс, была "Складка: Лейбниц и барокко" (1988)², которая внесла свою лепту в осознание новейшего времени как "эпохи необарокко". Его концепции "желания", "ризомы", "желающей машины", "сингулярностей", "шизоанализа", "либидозности социального тела" в разное время и в разной степени воздействовали на оформление постструктуралистской и постмодернистской теоретической мысли. И книга Делёза о Фуко — одна из наиболее серьезных попыток проанализировать или хотя бы осмыслить значение наследия этого философа.

Если попытаться подытожить самые первые впечатления от этой книги, то сразу бросается в глаза, что ее название более чем обманчиво. Это не столько исследование творчества Фуко, классификация и объяснение его основных понятий и концепций, не столько попытка проследить эволюцию его мысли и фундаментальный анализ его идей, сколько размышления самого Делёза по поводу Фуко. Концепция последнего была той основой, которая оказалась стартовой площадкой для запуска собственной системы представлений и проблем, волновавших автора этой книги. Делёз может сколько угодно заявлять, что он лишь разъясняет то, что хотел сказать Фуко, и нет никаких основа-

¹ Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie: L'Anti-Œdipe. P., 1972.

² Deleuze G. Le pli: Leibniz et le baroque. P., 1988.

ний сомневаться в его искренности. Но факт остается фактом: из наследия Фуко он выбрал лишь то, что его лично интересовало в первую очередь.

Книга Делёза о Фуко четко разделяется на две части. В первую — "От архива к диаграмме" — входят две статьи, написанные еще при жизни Фуко и являющиеся своеобразными откликами на появление его книг "Археология знания" (1969)³ и "Надзирать и наказывать" (1975)⁴. Здесь Делёз гораздо ближе к тому, что можно назвать попыткой научного анализа основных положений и концепций, сформулированных в этих трудах. Что касается второй части — "Топологии", — то тут идеи Фуко играют в основном вспомогательную роль побудительного импульса, стимулировавшего очередной виток эволюции теоретической мысли самого Делёза. И хотя он и в этой части своей книги активно цитирует и ссылается на Фуко, утверждает, что отталкивается от его понятий и развивает их, тем не менее интересы двух философов все более расходятся. И парадоксальный факт: когда через два года после выхода книги о Фуко появилось очередное исследование Делёза "Складка: Лейбниц и барроко", в ней не нашлось места для ссылки ни на одну работу Фуко.

Возникает невольный вопрос: о ком эта книга, о чем она повествует и кто ее главный герой? Я не сомневаюсь, что у ее автора в этом не было сомнения, — конечно, о Фуко. В общем, так оно и есть, но это только часть истины. Любой аналитик, комментатор, толкователь при восприятии чужих идей в первую очередь — и, отметим, — невольно, в силу специфических условий существования человеческой психики — пытается уточнять для себя их значение. И этот процесс совершенно неизбежен. В итоге данная книга представляет собой довольно сложный сплав противоречивых интенций и разнородных идей, в котором усвоение и дальнейшее развитие концепций Фуко предстает через призму якобы верного их изложения и одновременного переосмысливания в духе исканий самого Делёза.

³ Фуко М. Археология знания. Киев, 1996.

⁴ Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М., 1997.

При чтении текстов большинства современных французских философов новейшей ориентации приходится всегда учитывать один существенный фактор, касающийся самой специфики их мышления, то, что впоследствии получило название "поэтического мышления", или, иначе, "метафорической эссеистики". Она изначально чужда установке на терминологическую четкость, на логически выверенную строгость понятийного аппарата.

Сама традиция "поэтического мышления" как способа философствования по ту сторону "буржуазного духа рационализма", вскрытого Максом Вебером, — любовь к парадоксу, интуитивизм, техника намека, раскрытие мысли при помощи поэтически метафорической ассоциативности — уходит своими корнями в глубокую древность, к самому зарождению античной философии, к платоновским диалогам и диалогам восточной дидактики в том виде, в каком они до сих пор существуют в индуизме, буддизме и в чань-ских текстах, где раскрытие смысла понятия (например, в дзэновских диалогах-"коанах") достигается поэтически ассоциативным путем.

Возрождение этой традиции в XX веке связано в первую очередь с новым открытием Ницше, а также с поздним Хайдеггером. В рамках французской философской традиции второй половины нашего столетия огромную роль в развитии такого способа философствования сыграл Морис Бланшо, а в несколько меньшей степени также и Жорж Батай, как и вообще расцвет во Франции этого столетия философской и политико-публицистической эссеистики. Самыми известными продолжателями этой традиции стали Лакан, Деррида, Фуко, Барт, Кристева, тот же Делёз.

Во всяком случае эта особенность четко укладывается в русло той "французской неоницшеанской (хайдеггеровской) маллармеанской стилистической традиции Бланшо, Батая, Фуко, Дерриды и др."⁵, которую Джеймс Уиндерс считает основополагающей чертой постструктуралистского теоретизирования.

⁵ *Winders J.A. Poststructuralist theory, praxis, and the intellectual // Contemporary lit. Madison, 1986. Vol. 27, N I, p. 80.*

Мы не поймем специфики мышления Делёза, своеобразие его философствования и экзистенциальной позиции (впрочем, скорее, с точки зрения привычных академических представлений о том, кем должен быть философ и как ему следует себя вести) вне общего духа эпатажа, которым проникнута вся авангардистская теоретическая мысль со всеми сопутствующими биологически-натуралистическими ассоциациями: "Писать — это значит быть одним из потоков, не обладающим никакой привилегией по отношению к другим, сливающимся с другими в общее течение, либо образующим противотечение или водоворот, исток дерьма, спермы, слов, действия, эротизма, денег, политики и т.д."⁶.

Делёз не скрывает своего пристрастия к антирационалистической традиции истории философии, его привлекают авторы, которые противостоят рационалистической традиции этой истории, и для него между Лукрецием, Юмом, Спинозой и Ницше существует тайная связь, образованная критикой негатива, культурой радости, ненавистью к внутреннему, внешним характером сил и отношений, разоблачением власти... и т.д.; как он говорит, он больше всего "ненавидел гегельянство и диалектику"⁷. Делёз жалеет, что в его первых книгах было еще слишком много "университетского аппарата", т.е. традиционного понятийного аппарата, того состояния научности, из которого его вывел Ницше.

В значительной степени тот же импульс характерен и для Фуко. Как пишет С. Табачникова, "Фуко не раз говорил, что его книги не содержат готового метода — ни для него, ни для других, и не являются систематическим учением; что для него "написать книгу — это в некотором роде уничтожить предыдущую"; что он не мог бы писать, если бы должен был просто высказать то, что он уже думает, и что он пишет как раз потому, что не знает, как именно думать, и что по ходу написания книги что-то меняется — меняется не только понимание им какого-то вопроса, но и сама его постановка..."⁸. Очевидно, с еще большим основа-

⁶ Deleuze G. Pourparlers. P., 1990, p. 17—18.

⁷ Ibid., p. 14.

⁸ Табачникова С.В. Мишель Фуко: историк настоящего//Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996, с. 329—330.

нием это можно сказать и о Делёзе. Чем объясняется эта странная на первый взгляд позиция? Опасением быть "институтиализованным", "загнанным в угол" — всем, чем угодно: собственным авторитетом и популярностью, общим признанием, классификациями, дефинициями и определениями, налагаемыми на тебя твоими толкователями, опасностью чрезмерного влияния и неадекватной интерпретации и вообще страшной судьбой твоей собственной идеи, оказавшейся на улице, в толпе, и способной превратиться в лозунг для выражения настроений и интересов, совершенно чуждых первоначальным замыслам.

Об этом очень хорошо сказала С. Табачникова, характеризуя "странности" Фуко: "Первое, что обращает на себя внимание, это своего рода "страсть к разотождествлению" — стремление во что бы то ни стало избежать отождествления с кем бы то ни было и с чем бы то ни было, даже с самим собой и со своей собственной мыслью"⁹.

Эта проблема беспокоила Ж. Дерриду, когда он предостерегал от опасности "институциональной замкнутости" при его рецепции в США Йельской школы деконструкции. Для Фуко эта проблема возникла после того, как его книга "Слова и вещи" (1966)¹⁰ приобрела популярность, редкую для работы философского характера. Ту же обеспокоенность ощутили Делёз с Гваттари после выхода в 1972 г. "Анти-Эдипа", воспринятого как непосредственный отклик на майские события 1968 г. и в условиях продолжавшегося молодежного движения приобретшего политико-лозунговый характер.

Подобная мировоззренческая позиция не могла не сказаться и на специфике понятийного аппарата. В принципе очень редко можно говорить о каком-либо терминологическом консенсусе в условиях постоянно меняющегося фона различных теоретических парадигм, и это приводит к беспрестанному трансформированию объема и содержания любого термина, к тому же нельзя забывать и о сознательной установке на игровой принцип.

Делёз постоянно играет трудно переводимыми терминами, выражениями, сочетаниями, частично заимствуя их

⁹ Там же, с. 329.

¹⁰ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1994.

у Фуко, частично придумывая сам или переиначивая понятия Фуко, привнося в них добавочный смысл: "видимое" и "произносимое" (*le visible et le énonçable*), "высказывание" и "акт высказывания" (*énoncé, énonciation*), "внешнее" и "внутреннее" (*le Dehors, le Dedans*). К этому он еще добавляет *le dicible*, которое в данной книге переводится как "выразимое", при всей условности и неполноте русского эквивалента. Фуко неоднократно говорит о "единичностях" (*singularités*), которые у Делёза в его совместной работе с Ф. Гваттари "Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип" (1972) обрели совсем иной облик в виде "сингулярностей". М.К. Рыклин, в частности, характеризуя это понятие, отмечал, что Делёз критикует "метафизику и трансцендентальную философию" за их понимание "произвольных единичностей (сингулярностей) лишь как персонифицированных в высшем Я. Будучи доиндивидуальными, неличными, аконцептуальными, сингулярности, по Делёзу, коренятся в иной стихии. Эта стихия называется по-разному — нейтральное, проблематичное, чрезмерное, невозмутимое, но за ней сохраняется одно общее свойство: индифферентность в отношении частного и общего, личного и безличного, индивидуального и коллективного и других аналогичных противопоставлений... Сингулярность бесцельна, ненамеренна, нелокализуема"¹¹.

И при всем этом следует помнить, что структуралистская эпоха педантично строгого употребления терминов давно уже канула в Лету. Понятийный аппарат постструктуралистов, кем был, в частности, Фуко, и постмодернистов, кем по сути дела является Делёз, представляет собой крайне подвижную систему, постоянно терминологически настраивающуюся и перестраивающуюся в сильной зависимости от прихотливой изменчивости непосредственного потока живой мысли автора.

Особую трудность вызвал перевод многозначного понятия "себя" (*Soi*). Флективный характер русского языка активно требовал его склонения: сам, себя, себе, собой, о себе; иногда давались варианты "Я", "самость" при всем

¹¹ Рыклин М.К. Делёз // Современная западная философия. М., 1991, с. 89.

понимании неадекватности подобного перевода, хотя всякий раз из контекста понятно, о чем идет речь. Проблема здесь двоякого характера: различие в употреблении этих понятий у Фуко и Делёза, с одной стороны, и, с другой стороны, специфичность самого понятия. И хотя впоследствии Фуко смягчил свою изначально сугубо отрицательную позицию по отношению к понятию "субъект", особенно в своих последних работах, и некоторые его высказывания нельзя расценивать иначе как частичное теоретическое "оправдание субъекта", о полном признании его правомочности сколь-либо категорично утверждать не приходится. Поэтому употребление в данном случае понятия "самость" вряд ли представляется достаточно корректным, тем более если учесть тот факт, что оно имеет явно ощутимые экзистенциалистские обертоны, отзвуки экзистенциалистской философской традиции с ее поисками "подлинной аутентичности" человеческой личности, абсолютно неприемлемыми в рамках мировоззренческой парадигмы постструктурализма и, более конкретно, в пределах теоретического менталитета Фуко и Делёза.

У Фуко речь о "технологии", "техниках себя", "заботе о себе" заходит тогда, когда он хочет выявить специфику начавшегося у древних греков процесса субъективизации, которую он четко противопоставляет самому субъекту. Еще более категоричен в этом отношении Делёз: "Глупо утверждать, что Фуко заново открыл или снова ввел потаенного субъекта, после того как он его отверг. Субъекта нет, есть лишь порождение субъективности: субъективность еще необходимо было произвести, когда для этого пришло время, именно потому, что субъекта не существует"¹².

В этом Делёз перекликается с аналогичными высказываниями Фуко второй половины 60-х — начала 70-х годов. "Абсолютного субъекта не существует", — утверждал он в 1969 г.¹³ В 1972 г. Фуко выступил с самой решительной критикой понятия "автора" как сознательного и суверенного творца собственного произведения: "Автор не является бездонным источником смыслов, которые заполняют

¹² *Deleuze G. Pourparlers*, p. 159.

¹³ *Фуко М. Воля к истине*, с. 45.

произведения; автор не предшествует своим произведениям, он — всего лишь определенный функциональный принцип, посредством которого в нашей культуре осуществляется процесс ограничения, исключения и выбора; короче говоря, посредством которого мешают свободной циркуляции, свободной манипуляции, свободной композиции, декомпозиции и рекомпозиции художественного вымысла... автор — идеологическая фигура, с помощью которой маркируется способ распространения смысла"¹⁴.

И, конечно, нельзя забыть последний пассаж в "Словах и вещах", произведший столь сильное впечатление на современников, где Фуко возвещает о "смерти человека", утверждает тезис, что "человек — это изобретение недавнее", появившееся всего лишь полтора века назад, и с изменением "основных установок знания" "человек изгладится, как лицо, нарисованное на прибрежном песке"¹⁵.

Это фактическое заявление Фуко о "смерти субъекта" нельзя рассматривать, естественно, с точки зрения буквального истолкования данного понятия, поскольку некритичное его понимание значительно обедняет, если вообще не исключает тот "теоретический позитив", что в нем содержится. Не следует забывать, что эта концепция была полемически направлена против представления о своевольном, "своевластном" индивиде "буржуазного сознания" — протестительской, романтической и позитивистской иллюзии, игнорировавшей реальную зависимость человека от социальных — материальных и духовных — условий его существования и от той суммы представлений — т.е. от идеологии, — в которую эти условия жизни облекались. В чисто философском плане подобные представления «профана» воплощались в виде спекулятивного конструкта "трансцендентального субъекта", который и стал предметом ожесточенной критики Фуко в первую очередь.

Но есть, очевидно, и неизбежная закономерность в том, что всякие рассуждения о "смерти субъекта" имеют свой "теоретический предел", за которым они становятся бессмысленными. Иначе говоря, для Фуко с течением време-

¹⁴ Textual strategies. — L., 1980, p. 159.

¹⁵ Фуко М. Слова и вещи, с. 404.

ни становилось все более очевидным, что чрезмерный акцент на сверхдетерминированности человека и его сознания фактически снимает и сам вопрос о человеке. Собственно, поиски теоретического пространства для "свободной" деятельности субъекта и стали основным содержанием последнего периода его творчества. Конкретно это привело к попыткам выявить различные технологии субъективации.

Здесь, очевидно, и начинается самый ощутимый водораздел между взглядами обоих философов. Делёз во многом сохранил прежние представления; субъективация для него — "это порождение модусов существования или стилей жизни... Несомненно, как только порождается субъективность, как только она становится "модусом", возникает необходимость в большой осторожности при обращении с этим словом. Фуко говорит: "искусство быть самим собой, которое будет полной противоположностью самого себя..." Если и есть субъект, то это субъект без личности. Субъективация как процесс — это индивидуация, личная или коллективная, сводимая к одному или нескольким. Следовательно, существует много типов индивидуации. Существуют индивидуации типа "субъект" (это ты... это я...), но существуют также индивидуации типа события, без субъекта: ветер, атмосфера, время суток, сражение..."¹⁶.

Так говорил Делёз в год выхода книги о Фуко, но и в 1990 г. в интервью с Тони Негри он повторил то же самое: "Нет никакого возврата к "субъекту", т.е. к инстанции, наделенной обязанностями, властью и знанием"¹⁷.

Этой позицией объясняется и специфическое употребление Делёзом понятия "себя": в его трактовке они — именно во множественном числе — оказались гипостазированными инстанциями процесса субъективизации, психическими или ментальными, теми техниками самовоспитания, которые человек примеривает к себе как маски, и сама множественность которых постулируется как обязательное условие процесса субъективации.

Фактически такому же переосмыслению подвергаются и все остальные понятия, с которыми работал Фуко: они

¹⁶ *Deleuze G. Pourparlers*, p. 238.

¹⁷ *Ibid.*, 53.

гипотасируются и реинфицируются и обретают, тем самым, явственный налет метафизических сущностей, живущих самостоятельной жизнью по своим собственным законам, получают тот статус, которого не имели в системе Фуко.

Фуко, несомненно, занимала проблема соотношения **внешнего и внутреннего**. Как справедливо отмечает С. Табачникова, главной задачей философа в этой области было ниспровержение традиционного подхода академической науки, "постоянного возвращения от внешнего — к внутреннему, к некоторому "сущностному ядру", т.е. задача "проделывать в обратном направлении работу выражения", раскрывая в сказанном скрытое там "тайное и глубинное" и тем самым "высвобождая ядро основополагающей субъективности"¹⁸. Этому Фуко противопоставлял "правило **внешнего**: идти не от дискурса к его внутреннему и скрытому ядру... но, беря за исходную точку сам дискурс... идти к внешним условиям его возможности, к тому, что дает место для случайной серии этих событий и что фиксирует их границы"¹⁹. Однако Фуко, разумеется, и представить себе не мог, насколько далеко способен будет зайти Делёз в чисто игровом жонглировании этими понятиями, как и метафорическим образом "складки".

Надо сказать, что введенное Делёзом метафизическое понятие "складки" (изгиба, искривления пространства) как символического обозначения материального и духовного пространства уже спорадически встречалось в философии XX века. В свое время идею складки пытался обосновать М. Мерло-Понти в "Феноменологии восприятия"; с помощью этого же понятия Хайдеггер описывал Dasein в "Фундаментальных проблемах феноменологии". Деррида ссылаясь на метафизическую "складку" в эссе о Малларме²⁰.

Любопытна интерпретация, которую попыталась дать этому понятию Кармен Видаль в статье "Смерть политики и секса в шоу 80-годов". По ее мнению, в самом общем виде смысл этих рассуждений о складке заключается в том, что материя сама по себе движется не по кривой, а по ка-

¹⁸ Фуко М. Воля к истине, с. 338.

¹⁹ Там же, с. 80.

²⁰ Derrida J. Mallarmé // Tableau de la litt. fr. — P., 1974. № 3, p. 368.

сательной, образуя бесконечно пористую и изобилующую пустотами текстуру, без какого-либо пробела, где всегда "каверна внутри каверны, мир, устроенный подобно пчелиному улью, с неправильными проходами, в которых процесс свертывания-завертывания уже больше не означает просто сжатия-расжатия, сокращения-расширения, а скорее деградации-развития". "Складка, утверждает Кармен Видаль, — всегда находится "между" двумя другими складками, в том месте, где касательная встречается с кривой... она не соотносится ни с какой координатой (здесь нет ни верха, ни низа, ни справа, ни слева), но всегда "между", всегда "и то и другое".

Исследовательница считает "складку" символом 80-х годов, объяснительным принципом всеобщей культурной и политической дезорганизации мира, где царит "пустота, в которой ничего не решается, где одни лишь ризомы*, парадоксы, разрушающие здравый смысл при определении четких границ личности. Правда нашего положения заключается в том, что ни один проект не обладает абсолютным характером. Существуют лишь одни фрагменты, хаос, отсутствие гармонии, нелепость, симуляция, триумф видимостей и легкомыслия"²¹.

В статье "Что такое автор?" Фуко сформулировал те представления об авторстве, которые с полным основанием можно было бы отнести и к нему самому: "Как мне кажется, в XIX веке в Европе появились весьма своеобразные типы авторов, которых не спутаешь ни с "великими" литературными авторами, ни с авторами канонических религиозных текстов, ни с основателями наук. Назовем их с некоторой долей произвольности "основателями дискурсивности".

Особенность этих авторов состоит в том, что они являются авторами не только своих произведений, своих книг.

* **Ризома** — корневая система, не обладающая четкой структурой главного и боковых корней. Понятие, введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в книге «Ризома» (1974) в противовес термину «структура» как строго систематизированному и иерархически упорядочиваемому принципу организации природных, социальных, научно-логических и культурных явлений (Прим. перев.).

²¹ Vidal M.C. The death of politics and sex // New lit. rev. Charlottesville, 1993. Vol. 24, № 1, p. 191.

Они создали нечто большее: возможность и правило образования других текстов... Фрейд... Маркс... установили некую бесконечную возможность дискурсов... Когда... я говорю о Марксе или Фрейде как об "учредителях дискурсивности", я хочу сказать, что они сделали возможным не только какое-то число аналогий, они сделали возможным — причем в равной мере — и некоторое число различий. Они открыли пространство для чего-то, отличного от себя и, тем не менее, принадлежащего тому, что они основали. Сказать, что Фрейд основал психоанализ, не значит сказать — не значит просто сказать, — что понятие либидо или техника анализа сновидений встречаются и у Абрахама или у Мелани Кляйн, — это значит сказать, что Фрейд сделал возможным также и ряд различий по отношению к своим текстам, своим понятиям, к своим гипотезам, — различий, которые все, однако, релевантны самому психоаналитическому дискурсу".

И Фуко действительно создал свою собственную дискурсивность, свидетелем чему и является предлагаемая книга Делёза. Фуко оказал огромное влияние на сознание современного Запада, он изменил сам модус мышления, способ восприятия многих традиционных представлений, "оптику зрения", взгляд на действительность, на историю, на самого человека.

Жиль

ДЕЛЁЗ

Ф У К О

Предисловие

В этой книге содержится шесть относительно независимых друг от друга очерков.

Два первых первоначально были опубликованы в журнале "Critique", № 274 и № 343. Здесь они воспроизведены с изменениями и добавлениями.

Цитируемые тексты Мишеля Фуко обозначаются следующими аббревиатурами*.

ИБ: История безумия в классическую эпоху. *Histoire de la folie à l'âge classique*. P., Plon, 1961, затем Gallimard (на это последнее издание мы и ссылаемся).

РР: Реймон Руссель. *Raymond Roussel*. P., 1963.

РК: Рождение клиники. *Naissance de la clinique*. P., 1963.

СВ: Слова и вещи. *Les mots et les choses*. P., 1966. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.

МИ: Мысль извне. *La pensée du dehors*. // Critique, juin, 1966.

ЧТА: Что такое автор? *Qu'est-ce qu'un auteur?* // Bulletin de la Société française de philosophie, 1969.

АЗ: Археология знания. *L'archéologie du savoir*. P., 1969. Археология знания. Киев, 1996.

ЛГ: Предисловие к «Логической грамматике». *Préface à «La grammaire logique» de Jean-Pierre Brisset*. P., 1970.

ПД: Порядок дискурса. *L'ordre du discours*. P., 1971.

НГИ: Ницше, генеалогия, история. *Nietzsche, la généalogie, l'histoire* // *Hommage à Jean Hyppolite*. P., 1971.

ЭНТ: Это не трубка. *Ceci n'est pas une pipe*. P., 1973.

*К моменту подготовки настоящего издания на русский язык были переведены две книги Фуко, поэтому помимо ссылок на французский текст приводится также номер страницы соответствующего русского издания. Поскольку пока еще не существует устоявшейся традиции перевода на русский язык произведений французского философа, переводчик позволил себе смелость в некоторых случаях предложить свой собственный вариант перевода, предоставив возможность всем желающим сравнить имеющиеся версии. — Прим. перев.

ЯПР: Я, Пьер Ривьер... *Moi Pierre Rivière...* Р., 1973.

НН: Надзирать и наказывать. *Surveiller et punir.* Р., 1975.

ВЗ: Воля к знанию (История сексуальности I). *La volonté de savoir (Histoire de sexualité I).* Р., 1976.

ЖПЛ: Жизнь подлых людей. *La vie des hommes infâmes // Les cahiers du chemin.* Р. , 1977.

ИУ: Использование удовольствий (История сексуальности II). *L'usage des plaisirs (Histoire de la sexualité II).* Р., 1984.

ЗС: Забота о себе (История сексуальности III). *Le souci de soi (Histoire de la sexualité III).* Р., 1984.

От архива к диаграмме

Новый архивариус

(“Археология знания”)

В город назначен новый архивариус. Но вот только назначен ли? Разве он действует не в соответствии с собственными инструкциями? Злобные люди говорят, будто он — новый представитель какой-то технологии, структурной технократии. Другие же, те, кто принимает собственную глупость за остроумие, говорят, что он приспешник Гитлера или, по крайней мере, посягает на права человека (ему не прощают того, что он объявил о “смерти человека”)¹. Некоторые утверждают, что он имитатор, который не умеет как следует пользоваться ни одним сакральным текстом и почти не цитирует великих философов. А иные, напротив, говорят друг другу, что в философии родилось нечто новое, нечто в высшей степени новое, и что это сочинение обладает той самой красотой, от которой оно всячески открещивается: красотой праздничного утра.

Так что все начинается как в одном рассказе Гоголя (скорее, именно Гоголя, а не Кафки). Новый архивариус объявляет, что отныне он будет принимать во внимание одни лишь высказывания. Он не будет заниматься тем, что на тысячу разных ладов составляло предмет заботы прежних архивариусов: не будет заниматься пропозициями* и

¹ После выхода в свет СВ один психоаналитик предпринял обстоятельный анализ, в котором проводил сопоставления между этой книгой и “Mein Kampf”. Позднее эстафету подхватили те, кто утверждает, будто Фуко не в ладах с правами человека...

* **Пропозиция** — семантический инвариант, общий для всех членов модальной и коммуникативной парадигм предложения, или, по термином

фразами. Он оставит без внимания вертикальную иерархию громоздящихся друг над другом пропозиций, равно как и латеральность фраз, создающих впечатление, что каждая из них является ответом на некую другую фразу. Он будет двигаться по своего рода диагонали, которая позволит прочесть то, что не улавливается ни из какого другого положения, прочесть высказывания. Что это, атональная логика? Совершенно естественно, это начинает вызывать тревогу. Ведь архивариус нарочно не приводит никаких примеров. Он считает, что в последнее время не переставал их приводить, даже если и сам тогда не осознавал, что это были примеры. Ну а сейчас единственный формальный пример, который он анализирует, словно нарочно подобран им так, чтобы вызывать беспокойство: это ряд букв, которые я вывожу наугад или переписываю в том порядке, в каком они расположены на клавиатуре пишущей машинки. “Клавиатура пишущей машинки — не высказывание, тогда как последовательность букв А, Z, Е, R, Т, приведенная в учебнике машинописи, является высказыванием о порядке букв, принятом для французских пишущих машинок”². Такие *множества* не имеют правильной языковой структуры, и тем не менее это высказывания. Так, значит, «азерт»? Люди, привыкшие к другим архивариусам, задают себе вопрос, как же тогда он сумеет строить высказывания.

При этом Фуко объясняет, что высказывания встречаются чрезвычайно редко. И не только де-факто, но и де-юре: они неотделимы от закона и от “эффекта редкости”. Мало того, это одно из тех свойств, которые ставят их в оппозицию по отношению к фразам. Ибо, если говорить о пропозициях, то их можно придумать сколько угодно, столько, сколько в одних пропозициях в соответствии с их различными типами можно выразить суждений “относительно” других пропозиций; формализация как таковая не

логии Фуко, фразы. Это семантическая структура, которая может определяться либо как имеющая значение истинности или ложности высказывания, либо как объект утверждения, полагания, веры. Подробнее см. у Фуко («Археология знания», стр. 89—93. *Прим. перев.*).

² АЗ, 114/87. Здесь и далее библиографические ссылки приводятся по тексту оригинала. Через косую линию дается номер страницы русского перевода.

занимается различением между возможным и реальным: она просто в изобилии плодит возможные пропозиции. Что же касается того, что сказано на самом деле, то его редкость де-факто проистекает из того, что одна фраза уже своим наличием отрицает другие, мешает им, противоречит другим фразам, вытесняет их; в итоге получается, что каждая фраза, вдобавок, чревата еще и всем тем, чего в ней не сказано: виртуальным или латентным содержанием, приумножающим ее смысл и предлагающим такую ее интерпретацию, при которой образуется “скрытый дискурс” со всем его богатством де-юре. Диалектика фраз всегда несет в себе противоречие, существующее по крайней мере для того, чтобы его можно было устранить или углубить; типология же пропозиций предполагает абстрагирование, которое на каждом уровне находит определенный тип, стоящий выше его элементов. Однако и противоречие и абстрагирование являются способами приумножения фраз и пропозиций, поскольку дают возможность противопоставить одну фразу другой или сформулировать пропозицию о пропозиции. Высказывания же, напротив, неотделимы от некоего “пространства редкости”, в котором они располагаются согласно принципу экономии или даже дефицита. В сфере высказываний не существует ни возможного, ни виртуального; тут все реально, а вся реальность здесь явлена: в счет идет лишь то, что было сформулировано в таком-то месте, в такой-то момент, с такими-то лакунами и пробелами. Тем не менее вполне очевидно, что высказывания могут и противостоять друг другу, и иерархически располагаться на разных уровнях. Однако Фуко с неукоснительной точностью доказывает в двух главах, что противоречия между высказываниями существуют лишь из-за позитивной дистанции, которую можно измерить в «пространстве редкости», и что сравнения высказываний соотносятся с подвижной диагональю, которая позволяет проводить в этом пространстве сопоставление одних и тех же высказываний на разных уровнях, а также непосредственно выбирать на одном и том же уровне некоторые сочетания, не принимая во внимание другие, хотя те и являются его частью (и, по-видимому, пред-

полагают наличие другой диагонали)³. Именно разреженное пространство делает возможными все эти необычные передвижения, перемещения, измерения и разбивки на части, эту “лакуносодержащую и отрывочную форму”, которая заставляет удивляться тому, что высказывание мало что говорит и что вообще “мало что *может* быть сказано”⁴. Каковы же последствия этой транскрипции логики в той стихии разреженности либо рассеивания, у которой нет ничего общего с негативностью, и которая, напротив, образует присущую высказываниям “позитивность”?

Однако Фуко успокаивает нас: если верно, что высказывания редки, редки по самой своей сути, то для их построения не требуется никакой оригинальности. Высказывание всегда представляет собой излучение единичностей, сингулярностей, единичных точек, распределяющихся в соответствующем пространстве. Образование и преобразование этих пространств ставят топологические проблемы, которые, как мы увидим, весьма трудно сформулировать в терминах творения, начала или основания. Тем более что в анализируемом пространстве совсем неважно, формулируется ли высказывание впервые или повторно. Значение имеет только *регулярность* высказывания, выражаемая не в виде среднего арифметического, а в виде кривой. Фактически высказывание соотносится не с излучением единичностей, наличие которых оно предполагает, а с направлением проходящей рядом с ними кривой, — а в более общем плане — с правилами поля, в пределах которого они распределяются и воспроизводятся. В этом и заключается регулярность высказывания. “Следовательно, противопоставление “оригинальность-банальность” иррелевантно: между первоначальной формулировкой и фразой, которая повторяет ее спустя годы, а то и столетия, с большей или меньшей точностью [археологическое описание] не устанавли-

³ АЗ, часть III, главы 3 и 4. Фуко отмечает, что в СВ его интересовали три формации одного и того же уровня: естественная история, анализ богатств и всеобщая грамматика, но что он мог бы проанализировать и другие формации (библейскую критику, риторику, историю...), рискуя обнаружить “интердискурсивную сеть, которая не наложилась бы на первую, но пересекла бы ее в некоторых точках” (208/159).

⁴ АЗ, 157/119.

вает никакой ценностной иерархии; между ними нет радикального различия. Оно лишь стремится к установлению регулярности высказываний”⁵. И поскольку не ставится вопрос о происхождении, то не возникает и вопроса об оригинальности. Чтобы построить высказывание, нет необходимости быть кем-то, а само высказывание не отсылает ни к какому бы то ни было “*cogito*”, ни к трансцендентальному субъекту, который сделал бы его возможным, ни к произнесшему его впервые (или возобновившему его произнесение) *Я*, ни к Духу Времени, который мог бы его сохранять, распространять и перекраивать⁶. Существует множество “мест” для субъекта каждого высказывания; к тому же, места эти крайне неустойчивы. Но как раз из-за того, что в каждом из случаев в них могут выступать разные индивиды, высказывание представляет собой специфический объект, образующийся благодаря некоему совмещению, согласно законам которого оно сохраняется, передается или же повторяется. Состав этого совмещения подобен структуре товарного склада: оно является не противоположностью редкости, а, напротив, ее следствием. Оно заменяет собой понятия происхождения и возврата к истокам: как и бергсоновское воспоминание, высказывание сохраняется в себе, в собственном пространстве, и живет лишь в том случае, если это пространство длится или оказывается восстановленным.

Вокруг каждого высказывания мы должны различать три круга, как бы три пространственных среза. *Прежде всего, пространство коллатеральное*, прилегающее или смежное: его образуют прочие высказывания, относящиеся к той же группе. Вопрос о том, пространство ли определяет группу, или же, наоборот, группа высказываний определяет пространство, не столь уж важен. Не существует ни гомогенных пространств, безразличных к высказываниям, ни высказываний без локализации, поскольку и те, и другие смешиваются на уровне правил образования. Значение имеет лишь то, что эти правила образования не позволяют свести себя ни к аксиомам (как в случае с пропозициями), ни к

⁵ АЗ, 188/144 (и об уподоблении высказывания кривой, 109/84).

⁶ АЗ, 207/159 (в частности, критика понятия “мировоззрение”).

контексту (как в случае с фразами). Пропозиции отсылают по вертикали к аксиомам более высокого уровня, которые определяют внутренние, присущие данной системе константы, равно как и саму систему. Установление такого рода гомогенных систем является одним из условий функционирования лингвистики. Что же касается фраз, то у них, в зависимости от внешних переменных, один из компонентов может входить в одну систему, а другой — в другую. Совершенно иначе ведет себя высказывание: оно неотделимо от внутренне присущих ему вариаций, из-за которых мы не находимся в одной системе, а непрерывно переходим из одной системы в другую (даже в рамках одного и того же языка). Высказывание не бывает ни латеральным, ни вертикальным, оно трансверсально, т.е. поперечно, и правила его находятся на том же уровне, что и оно само. Возможно, Фуко и Лабов близки друг к другу, в особенности, когда Лабов демонстрирует, как один молодой негр, непрерывно переходит от системы “блэк инглиш” к системе “стандарт америкэн”^{*} и наоборот, подчиняясь *переменным или факультативным* правилам, которые позволяют определить регулярности, но не гомогенности⁷. Но даже когда кажется, что высказывания образуются на одном и том же языке, то, переходя от описания к наблю-

^{*} Имеются в виду фонетические и грамматические нормы сильно арготизированного просторечия социальных низов чернокожего населения США, с одной стороны, и, с другой, американского варианта английского литературного языка как необходимого условия успешной социальной карьеры (Прим. ред.).

⁷ Ср. Labov W. Sociolinguistique, Ed. de Minuit, 262—265. У Лабова определяющей является идея правил, лишенных как постоянства, так и гомогенности. Мы могли бы обратиться и к другому примеру, более близкому в связи с последними изысканиями Фуко: в созданном Крафт-Эбингом объемистом компендиуме о половых извращениях, “Psychopathia sexualis”, как только объект высказывания становится чересчур “откровенным”, в немецком тексте появляются целые сегменты на латыни. Постоянный переход от одной системы к другой наблюдается в обоих направлениях. Можно подумать, что это происходит в силу внешних обстоятельств или “переменных” типа стыда или цензуры, и это верно с точки зрения фразы. Но, если взять точку зрения высказывания, то высказывания о сексуальности у Крафт-Эбинга неотделимы от внутренне обусловленного варьирования. Не составило бы труда доказать, что то же самое верно для любого высказывания.

дению, к расчету, учреждению, предписанию, высказывания одной и той же дискурсивной формации как бы проходят через соответствующее количество систем или языков⁸. Следовательно, группу или семейство высказываний “формируют” правила перехода или варьирования в пределах одного и того же уровня; “семейство” как таковое они превращают в среду рассеивания и гетерогенности, что несовместимо с какой бы то ни было гомогенностью. Такова природа любого прилегающего или смежного пространства: каждое высказывание неотделимо от высказываний другой группы, с которыми оно связано правилами перехода (векторами). Каждое высказывание не только неотделимо от некоего “редкого” и одновременно регулярного множества, но оно и само является множеством: множеством, а не структурой и не системой. Такова топология высказываний, которая противостоит типологии пропозиций точно так же, как и диалектике фраз. Мы полагаем, что высказывание, или семейство высказываний, или дискурсивная формация, определяются, согласно Фуко, прежде всего, с помощью линий внутренне присущего им варьирования либо посредством поля векторов, распределяющихся в смежном пространстве: это и есть высказывание, взятое в его *изначальной функции*, или в первом значении слова “регулярность”.

Второй пространственный срез представляет собой *коррелятивное пространство*, которое не следует смешивать с пространством смежным. На этот раз речь идет о взаимосвязях высказывания уже не с другими высказываниями, а с его собственными субъектами, объектами и понятиями. Есть все шансы обнаружить здесь новые различия между высказываниями, с одной стороны, и словами, фразами и пропозициями — с другой. По существу, фразы отсылают к так называемому субъекту акта высказывания, который вроде бы обладает способностью начинать дискурс: речь идет о *Я* как о языковом лице, несводимом к *ОН*, даже если это *Я* эксплицитно не выражено, т.е. “я” как шифтер или объект самореференции. Следовательно, фраза анализируется с двойной точки зрения, как внутренней

⁸ АЗ, 48/35 (пример медицинских высказываний XIX века).

постоянной (форма “я”), так и внешних переменных (те, которые говорят “я”, тем самым заполняя форму). Совершенно иначе обстоит дело с высказыванием: оно отсылает не к единственной форме, а к весьма неустойчивым, определяемым внутренней логикой позициям, входящим в состав самого высказывания. К примеру, если “литературное” отсылает высказывание к некоему автору, то анонимное письмо тоже отсылает к автору, но совершенно в ином смысле; обычное же письмо отсылает к тому, кто поставил под ним подпись, контракт — к его гаранту, афиша — к своему редактору, сборник — к составителю...⁹ Между тем, все это является частью высказывания, хотя и не частью фразы: это функция, производная от первичной, *производная функция* высказывания. Отношение между высказыванием и переменным субъектом образует внутренне обусловленную переменную высказывания. “Давно уже я привык укладываться рано...”: фраза останется одной и той же, высказывание же изменится в зависимости от того, соотносится ли оно с каким-либо, первым попавшимся субъектом или же с писателем Прустом, который открывает этим высказыванием свой роман “В поисках утраченного времени”, приписывая его рассказчику. Более того, одно и то же высказывание может иметь несколько позиций, несколько мест субъекта: например, автор романа и рассказчик, или же подписавший письмо и его автор, как в случае с одним из писем госпожи де Севинье (причем получатель этого «информационного сообщения» не является одним и тем же в обоих случаях); или это субъект сообщающий и субъект, принимающий сообщения, как в косвенной речи (и особенно в несобственно прямой речи, где две позиции субъекта проникают одна в другую). Однако все эти позиции не являются образами некоего изначального Я, от которого исходит высказывание: напротив, они являются производными от самого высказывания, и в качестве таковых — формами “не-лица”, соотносящегося с безличными местоимениями, как, например, в выражении:

⁹ ЧТА, 83. И АЗ, 121—126/93—96 (в частности, случай научных высказываний).

"Говорят..."*, конкретизирующимися в зависимости от того или иного семейства высказываний. Фуко здесь сходится с Бланшо, который изобличает всякую языковую персонологию и располагает места субъекта в толще безымянного бормотания. Именно в этом бормотании без начала и конца Фуко и хотелось бы занять место, то место, которое ему указано высказываниями¹⁰. Возможно, это самые волнующие высказывания Фуко.

То же самое можно сказать и в отношении объектов и понятий высказывания. Предполагается, что пропозиция обладает неким референтом. Имеется в виду, что референтность, или интенциональность представляет собой внутреннюю константу пропозиции, тогда как положение вещей, которому случается (или не случается) ее заполнить, является внешней переменной. Но с высказыванием дело обстоит иначе: у него есть "дискурсивный объект", который никоим образом не заключен в искомое положение вещей, а, напротив, проистекает из самого высказывания. Это производный объект, который определяется как раз у предела линий варьирования высказывания в его первичной функции. Вот почему не имеет никакого смысла проводить разграничение различных типов интенциональности, из которых одни могли бы быть заполнены "положениями вещей", а другие остались бы пустыми, будучи фиктивными либо воображаемыми (я повстречал единорога), или же вообще абсурдными (квадратный круг). Сартр писал, что, в отличие от постоянных гипнагогических элементов и общего мира бодрствования, каждое сновидение, каждый образ сновидения имеет свой специфический мир¹¹. Высказывания Фуко подобны сновидениям: у каждого из

*Имеются в виду французские неопределенное местоимение *on* и безличное *il* в выражениях «*on parle*», «*il parle*», которые переводятся на русский язык неопределенно-личным оборотом 3-го лица множественного числа (Прим. ред.).

¹⁰ Таково начало ПД. "Говорят" у Фуко представлено в СВ как "бытие языка", а в АЗ как "имеется нечто языковое". Можно еще сослаться и на тексты Бланшо, посвященные безличным местоимениям (в частности, "Роль огня" (*La part du feu*. Gallimard, 29) и "Пространство литературы" (*L'espace littéraire*. Gallimard, 160—161).

¹¹ *Sartre J.-P. L'imaginaire*. P., 322—323.

них есть собственный объект, или же каждое из них окружает себя своеобразным миром. Так, сочетание слов “Золотая гора находится в Калифорнии” является настоящим высказыванием: референта у него нет, но тем не менее недостаточно апеллировать к пустой интенциональности, где все позволено (к художественной литературе). У высказывания “Золотая гора...” есть дискурсивный объект, то есть определенный воображаемый мир, в рамках которого “разрешены или не разрешены такого рода геолого-географические фантазии” (это можно лучше понять, вспомнив высказывание «Алмаз, крупный, как отель ”Ритц”», которое отсылает не к художественной литературе вообще, а к весьма своеобразному миру, в который погружено высказывание Фицджеральда, в его взаимосвязях с прочими, образующими “семейство”, высказываниями того же автора¹². Наконец, такой же вывод пригоден и для понятий: слово содержит понятие как означаемое, то есть как внешнюю переменную, с которой оно соотносится посредством своих означающих (то есть, внутренней константы). Но и тут с высказыванием все обстоит по-иному. Оно обладает собственными концептами или, точнее, собственными дискурсивными “схемами”, рождающимися в точках пересечения разнородных систем, где оно выполняет свою первичную функцию: таковы, например, переменные группировки и дифференциация симптомов в медицинских высказываниях той или иной дискурсивной формации (так, в XVII веке появился диагноз “мания”, а в XIX веке — “монomania”...) ¹³.

Если высказывания отличаются от слов, фраз или пропозиций, то происходит это потому, что они включают в себя, в качестве своих “производных” и функции субъекта, и функции объекта, и функции концепта. И как раз субъект, объект и концепт представляют собой не что иное, как функции, образованные от первичной функции или от высказывания. В результате коррелятивное пространство

¹² АЗ, 118/90 (Золотая гора...).

¹³ О “доконцептуальных схемах” см. АЗ, 80—81/61—62. Ср. то же самое на примере душевных болезней и их классификации в XVII веке, ИБ, часть 2; о возникновении в XIX столетии понятия монomanии, см. ЯПР.

представляет собой дискурсивный порядок мест или позиций субъектов, объектов и концептов в пределах семейства высказываний. В этом второй смысл “регулярности”: эти различные места представляют собой единичные точки. Следовательно, системе слов, фраз и пропозиций, которая работает посредством внутренней константы и внешней переменной, противостоит множество высказываний, действующих при помощи внутреннего варьирования и внутренней переменной. То, что с точки зрения слов, фраз и пропозиций, кажется случайностью, становится правилом с точки зрения высказываний. Таким образом Фуко создаст новую прагматику.

Остается еще и третий срез пространства, являющегося внешним: это *дополнительное пространство*, или недискурсивные формации (“политические институты и события, экономические методы и процессы”). Именно в этом месте Фуко уже набрасывает контуры политической философии. Любой общественный институт включает в себя высказывания, такие, например, как конституция, хартия, договоры, регистрационные и протокольные записи. Высказывания же, напротив, отсылают к институциональной среде, без которой не смогли бы сформироваться ни объекты, возникающие в каких-либо местах высказывания, ни говорящий из какого-либо места субъект (например, позиция писателя в обществе, позиция врача в больнице или в своем кабинете в такую-то эпоху, или возникновение новых объектов). Но и тут — между недискурсивными формациями общественных институтов и дискурсивными формациями высказываний — существует большой соблазн установить то ли своего рода вертикальный параллелизм, подобный параллелизму между двумя выражениями, каждое из которых символизирует другое (первичные отношения выражения), то ли причинно-следственную связь по горизонтали, в соответствии с которой события и институты определяли бы людей как предполагаемых авторов высказываний (вторичные отношения рефлексии). Однако диагональ называет нам третий путь: *дискурсивные отношения с недискурсивными средами*, которые сами по себе не являются ни внутренними, ни внешними по отношению к

группам высказываний, но которые образуют границу, о чем мы только что говорили, определенный горизонт, без которого те или иные объекты высказываний не могли бы появиться, равно как не определились бы и места высказываний. “Разумеется, нельзя сказать, что политическая практика навязала медицине с начала XIX века такие новые объекты, как повреждения тканей или анатомо-патологические корреляции; однако, она открыла новые поля выявления медицинских объектов (...массы населения, включенные в административные рамки и находящиеся под надзором... огромные народные армии... институты, выполняющие больничные функции применительно к экономическим потребностям эпохи и социально-классовым взаимоотношениям). Эту связь политической практики с медицинским дискурсом в равной степени можно обнаружить и в статусе врача...”¹⁴.

Поскольку противопоставление “оригинальное-банальное” здесь иррелевантно, высказывание обладает способностью быть *повторяемым*. Фразу можно начать снова или же снова припомнить, оппозиция может быть реактуализована, и только “высказывание обладает способностью быть повторяемым”¹⁵. При этом, однако, обнаруживается, что реальные условия повторения весьма строги. Требуются одно и то же пространство дистрибуции, такое же распределение единичностей, тот же порядок мест и позиций, одни и те же взаимосвязи со средой-институтом: все это составляет “материальность” высказывания, которая обеспечивает его повторяемость. Так, “Виды эволюционируют” — не одно и то же высказывание, если его формулирует, с одной стороны, естественная история XVIII века, а с другой — биология века XIX. И даже нельзя быть уверенным, что оно остается самотождественным на отрезке от Дарвина до Симпсона, поскольку в разных описаниях могут акцентироваться совершенно различные единицы измерения, временные промежутки и распределения, так же, как и общественные институты. Одна и та же фразалозунг “Идиотов — в сумасшедшие дома!” может принад-

¹⁴ АЗ, 212—214/163 (и 62—63/44—45).

¹⁵ АЗ, 138/105.

лежать к абсолютно различным дискурсивным формациям, в зависимости от того, протестует ли она — как в XVIII веке — против смешения заключенных с помешанными или, напротив, призывает строить — как в XIX — дома умалишенных, дабы отделить душевно больных от заключенных, или же — как в наши дни — выступает против одной из тенденций развития системы лечебных учреждений¹⁶. Нам возразят, что Фуко только и делает, что оттачивает все тот же сугубо классический анализ, делающий упор на *контексте*. Но согласившись с этим утверждением, мы рискуем не распознать всей новизны устанавливаемых им критериев, в частности, когда он показывает, что можно сказать фразу или сформулировать оппозицию не обязательно всегда имея одно и то же место в соответствующем высказывании и не воспроизводя те же самые единичности. А когда нам придется изобличать лжеповторения, устанавливая дискурсивную формацию, к которой принадлежит конкретное высказывание, мы вдруг обнаружим, что между четко выделяемыми формациями существуют феномены изоморфизма или изотопии¹⁷. Что же касается контекста, то он не объясняет ничего, поскольку в зависимости от того, имеем ли мы дело с дискурсивной формацией или с семейством анализируемых высказываний, природа его будет различна¹⁸.

Если повторению высказываний присущи столь строгие условия, то происходит это не из-за внешних условий, а в силу той внутренней материальности, которая превращает само повторение в отличительное свойство высказывания. Дело в том, что высказывание всегда определяется через конкретные взаимоотношения с *чем-то иным*, находящимся на том же уровне, что и оно само, то есть с чем-то иным, касающимся его самого (а не его смысла или его элементов). Это “нечто иное” может быть тоже высказыванием, и тогда высказывание повторяется явным образом. Но в предельном случае оно с необходимостью должно быть чем-то совершенно отличным от высказывания, неким “Внешним”.

¹⁶ ИБ, 417—418.

¹⁷ АЗ, 210/160—161.

¹⁸ АЗ, 129/98—99.

Здесь оно выступает как простое излучение единичностей, предстающих как точки неопределенности, поскольку они пока еще не определены и не специфицированы с помощью соединяющей их кривой высказывания, которая, проходя мимо них, принимает ту или иную форму. Таким образом, Фуко показывает, что и кривая, и график, и пирамида являются высказываниями, тогда как то, что они собой представляют, высказыванием не является. Точно так же, когда я переписываю буквы AZERT — это высказывание, а эти же буквы, расположенные на клавиатуре пишущей машинки, высказыванием назвать нельзя¹⁹. В этих случаях видно, как скрытое повторение вносит жизнь в высказывание; читатель вновь встречается здесь с темой, которой посвящены лучшие страницы книги “Реймон Руссель”, где речь идет о “ничтожном различии, парадоксальным образом способствующем возникновению тождественности”. По сути высказывание уже является повторением, хотя то, что в нем повторяется, представляет собой “нечто иное”, которое, однако, может быть “до странности на него похожим, чуть ли даже не идентичным ему”. В таком случае самой большой проблемой для Фуко могло бы стать определение состава единичностей, на которые указывает высказывание. Но “Археология” на этом останавливается и не пытается решать задачу, выходящую за пределы “знания”. Читатели Фуко догадываются, что мы здесь входим в новую сферу, в сферу власти, сочетающейся со знанием. Исследованию этой проблемы будут посвящены следующие книги Фуко. Но мы уже сейчас предчувствуем, что AZERT на клавиатуре представляет собой совокупность “очагов власти”, совокупность “силовых” взаимоотношений между буквами алфавита в соответствии с их частотностью во французском языке и досягаемостью для пальцев обеих рук.

В “Словах и вещах”, как объясняет Фуко, речь шла не о вещах и не о словах. Равно как и не об объекте или субъекте. Равно как и не о фразах, не о пропозициях, не о грамматическом, логическом или семантическом анализе. Высказывания отнюдь не возникают в результате синтеза слов

¹⁹ АЗ, 114—117/87—90 (и 109/80).

и вещей, вовсе не состоят из фраз и пропозиций; скорее, наоборот, они предшествуют фразам и пропозициям, которые имплицитно их предполагают, и это именно они формируют слова и предметы. Фуко дважды говорил о своем рассказании: в “Истории безумия” он слишком часто прибегал к понятию “опыт” безумия, которое все еще вписывалось в рамки некой двойственности между “неприрученными состояниями вещей” и пропозициями: в “Рождении клиники” он ссылался на “медицинский взгляд”, который предполагает прежнюю унитарную форму субъекта, чересчур неподвижного по отношению к объективному полю. Не исключено, однако, что эти покаяния являются притворными. Нет оснований сожалеть об отказе от романтизма, которому “История безумия” частично обязана своей красотой, во имя нового позитивизма. Следствием этого разреженного и даже поэтического позитивизма, возможно, стала реактивация в пределе рассеивания дискурсивных формаций или высказываний своеобразного всеобщего опыта, который всегда является опытом безумия, а в разнообразии мест, находящихся в лоне таких формаций реактивизация специфического мобильного положения, которое всегда принадлежит врачу, клиницисту, диагносту, симптоматологу цивилизаций (независимо ни от какого *Weltanschauung*). И что такое заключительная часть “Археологии”, как не обращение к общей теории производства, которая должна слиться с революционной практикой, где действующий “дискурс” образуется в стихии чего-то “внешнего”, безразличного и к моей жизни, и к моей смерти? Ибо дискурсивные формации являются по существу подлинными практиками, а их языки — не универсальным логосом, а смертными языками, способными содействовать мутациям, а иногда и выражать их.

Как целая группа высказываний, так и каждое единичное высказывание представляют собой множества. Понятие “множество” и виды множеств сформулировал Риман, соотнося их с физикой и математикой. Впоследствии философское значение этого понятия обнаруживается у Гуссерля в его труде “Формальная и трансцендентальная логика» и у Бергсона в книге “Эссе о непосредственных дан-

ных сознания” (когда Бергсон пытается определить длительность как вид множества, противостоящий множествам пространственным, что несколько напоминает римановское разграничение между множествами дискретными и непрерывными). Но понятие “множество” в этих двух случаях успеха не имело — то ли из-за того, что оказалось затемнено различием между видами множеств, что и привело к восстановлению обыкновенного дуализма, то ли потому, что тяготело к статусу аксиоматической системы. Между тем самое существенное в этом понятии заключается в образовании существительного “множественное”, которое перестает быть предикатом, противопоставляемое “Одному” или присваиваемое субъекту, определяемому в качестве единичного. Множество остается совершенно безразличным к традиционным проблемам множественного и единичного, а особенно, к проблеме субъекта, который бы его обуславливал, мыслил о нем, искал бы его первоисточник и т.д. Не существует ни единичного, ни множественного, так или иначе отсылающих к некоему сознанию, которое снова овладевало бы собой в одном и развивалось бы в другом. Существуют лишь редкие множества с единичными точками, с пустыми местами для тех, кому случается некоторое время выполнять в них функцию субъекта: накапливающиеся, повторяющиеся и сохраняющиеся в самих себе регулярности. Множество — это понятие не аксиоматическое или типологическое, а топологическое. Книга Фуко представляет собой решающий шаг в развитии теории-практики множеств. И таков же метод, разрабатываемый Морисом Бланшо в несколько ином ракурсе в области логики литературного производства: установление самой строгой и крепкой связи между единичным, множественным, нейтральным и повторением, чтобы отвергнуть одновременно и форму сознания или субъекта, и бездонность недифференцированной пучины. Фуко не скрывал своей близости в этом отношении к Бланшо. И он показывает, что современные споры ведутся, в сущности, не столько по поводу структурализма как такового, не только по поводу существования или отсутствия моделей и реалий, которые принято называть структурами, сколько по пово-

ду места и статуса субъекта в тех измерениях, которые выглядят не полностью структурированными. Так, например, пока мы непосредственно противопоставляем историю структуре, можно считать, что субъект сохраняет смысл в качестве конституирующей, собирающей и унифицирующей активности. Но все выглядит совершенно иначе, как только мы начинаем рассматривать “эпохи” или исторические формации как множества. Последние ускользают из-под власти субъекта, равно как и из-под власти структуры. Ибо структура пропозициональна, имеет аксиоматический характер, приписываемый определенному уровню, она образует гомогенную систему, тогда как высказывание является множеством, которое проходит через разные уровни, “пересекает сферу возможных общностей и структур, и, наполняя их конкретным сдержанием, позволяет им проявиться во времени и пространстве”²⁰. Субъект — это субъект речи, он диалектичен, ему присущ характер первого лица, которым начинается дискурс, тогда как высказывание является первичной анонимной функцией, которая позволяет субъекту существовать только в третьем лице, причем лишь в виде производной функции.

Археология противопоставляет себя двум основным методикам, применяемым “архивариусами” по сей день: формализации и интерпретации. Архивариусы часто совершают “скачки” от одной методики к другой, апеллируя к обоим сразу. То они извлекают из фразы логическую пропозицию, которая функционирует согласно ее явному смыслу: тем самым они обходят “вписанное”, превращая его в легко воспринимаемую форму, которая в свою очередь тоже может быть написана на какой-нибудь символической поверхности, но сама по себе принадлежит к иному порядку, нежели порядок записи. Либо, они, напротив, обходят фразу, превращая ее в иную фразу, к которой первая фраза неявно отсылает: тем самым они удваивают написанное с помощью другой записи, которая, несомненно, образует некий скрытый смысл, но которая, что самое главное, имеет и иной смысл, и иное содержание. Эти два крайних подхода обозначают, скорее, два полюса, между которыми колеб-

²⁰ АЗ, 115/88, 259—266/196—201.

лются интерпретация и формализация (это видно, например, по тому, что психоанализ не решается сделать окончательный выбор между функционально-формальной гипотезой и топической гипотезой “двойной записи”). Один из них выявляет “сверхсказанное” фразы, а другой — ее “невысказанное”. Отсюда стремление логики доказывать, что следует, к примеру, различать две пропозиции, соответствующие одной и той же фразе, и стремление интерпретационных наук доказывать, что любая фраза имеет в себе лакуны, которые следует заполнять. В результате методологически очень трудно придерживаться того, что говорится на самом деле, то есть придерживаться *одной лишь записи сказанного*. Это не получается даже у лингвистики (и в первую очередь у лингвистики), единицы членения которой никогда не находятся на том же уровне, что и сказанное.

Фуко отстаивает для себя право на совершенно иной проект: добраться до простой записи, где фигурирует сказанное, через позитивность “диктума”, то есть, высказывания. Археология “не пытается очертить, обойти словесные речевые употребления, чтобы открыть за ними и под их видимой поверхностью скрытый элемент, скрывающийся в них или возникающий подспудно тайный смысл; однако высказывание не видимо непосредственно; оно не проявляется столь же явным образом, как грамматическая или логическая структуры (даже если последняя не полностью ясна, даже если ее крайне сложно разъяснить). *Высказывание одновременно и невидимо и несокрыто*”²¹. И на самых важных страницах своей книги Фуко доказывает, что никакое высказывание не может обладать латентным существованием, поскольку оно касается действительно сказанного; даже встречающиеся в высказываниях “пропуски” или пробелы не следует путать с “потайными” значениями, ибо они обозначают лишь присутствие высказывания в пространстве рассеивания, где образуется его “семейство”.

²¹ АЗ, 143/110. Например, история философии в том виде, как ее представлял себе Геру, состоит в том, чтобы придерживаться только этой записи, которая не видна и при этом не скрыта, и не прибегать ни к формализации, ни к интерпретации.

Напротив, если так трудно добраться до записи того же уровня, что и сказанное, то происходит это потому, что высказывание не дано непосредственно, а всегда прикрито фразами и пропозициями. Следует обнаружить “цоколь” высказывания, отполировать, обработать, или даже придумать его. Придумав этот цоколь, следует вычлениить три пространственных среза; и только в множестве, которое предстоит воссоздать, мы сможем обнаружить высказывание как *простую* запись того, что говорится. И только потом возникает вопрос, не предполагали ли интерпретации и формализации эту простую запись в качестве своего предварительного условия. Разве не бывает так, что запись высказывания (высказывание как запись) в определенных условиях оказывается вынужденной удваиваться, образуя другую запись, или проецироваться в пропозицию? Всякая надпись, всякая подпись отсылают к единственной записи высказывания в его дискурсивной формации: к архивному памятнику, а не к документу. “Для того, чтобы язык можно было исследовать как объект, разделенный на различные уровни, описываемый и анализируемый, необходимо, чтобы существовало некое высказывательное данное, которое всегда будет определенным и небесконечным: анализ языка всегда осуществляется на *материале* слов и текстов; интерпретация и упорядочивание имплицитных значений всегда основываются на ограниченной группе фраз; логический анализ системы включает в повторную запись, в формальный язык данную совокупность пропозиций”²².

В этом сущность конкретного метода. Разумеется, мы вынуждены начинать со слов, фраз и пропозиций. Только мы организуем их в определенный свод, меняющийся в зависимости от поставленной проблемы. Таково было уже требование школы «дистрибутивного анализа» Блумфилда и Харриса. Однако оригинальность Фуко состоит в способе, которым он определяет для себя свод слов и текстов: он исходит не из функции их частотности или лингвистических констант, не из личных заслуг тех, кто говорит или пишет (великие мыслители, знаменитые государственные деятели и т.д.). Франсуа Эвальд имел все основания отме-

²² АЗ, 146/112.

титель, что своды Фуко представляют собой “безреферентный дискурс” и что наш архивариус, как правило, избегает упоминать громкие имена²³. Дело в том, что он, выбирает базовые слова, фразы и пропозиции не по их структуре и не в зависимости от того, кто является их субъектом-автором, а на основе той простой функции, которую они выполняют в своем “семействе”: например, на основе правил помещения в психиатрическую лечебницу или в тюрьму; на основе армейских дисциплинарных уставов, или правил поведения в школе. Если мы будем продолжать задавать себе вопросы о критериях, которыми пользуется Фуко, то исчерпывающий ответ мы получим в книгах, написанных после “Археологии”: выбранные для свода слова, фразы и пропозиции нужно искать в окрестностях диффузных очагов власти (и сопротивления), когда они вступают в действие при решении той или иной проблемы. Например, возьмем свод “сексуальности”, относящийся к XIX веку: мы будем искать слова и фразы, которыми обмениваются в исповедальне, суждения, громоздящиеся друг на друга в учебниках казуистики, примем во внимание и другие очаги власти, такие как школы или общественные институты, связанные с рождаемостью и браками...²⁴ Этот критерий практически работает уже в “Археологии”, хотя соответствующая теория появилась лишь впоследствии. Стало быть, составив свод (ни в коей мере не предваряющий высказывание), можно определить и тот способ, благодаря которому язык надстраивается над этим сводом, “падает” на этот свод: именно это и есть “бытие языка”, о котором говорилось в “Словах и вещах”, “присутствие языка”, упоминаемое в “Археологии” и меняющееся в зависимости от каждой конкретной дискурсивной совокупности²⁵. Это и есть безымянное бормотание, определяемое безличным выражением “говорят” и меняющееся в зависимости от рассматриваемого свода. Следовательно, мы в состоянии из-

²³ Ewald F. *Anatomie et corps politiques*//Critique. P., 1975, p. 1229—1230.

²⁴ Ср. ВЗ, “Побуждение к дискурсу”. Лишь с появлением НН указанный критерий начал изучаться “в себе и для себя”. Но проявляться он мог и прежде, без каких-либо логических ошибок.

²⁵ АЗ, 145—148/111—114.

влечь из слов, фраз и пропозиций не смешивающиеся с ними высказывания. Высказывания не являются ни словами, ни фразами, ни пропозициями, а формациями, которые выделяются только из свода слов, фраз и пропозиций, когда субъекты фразы, объекты пропозиции и означаемые слов *меняют свою природу*, располагаясь внутри этого “говорят”, распределяясь и рассеиваясь в толще языка. Согласно постоянному парадоксу Фуко, язык надстраивается над сводом лишь для того, чтобы стать средой дистрибуции или рассеивания высказываний, уставом естественным образом рассеянного “семейства”. Весь этот метод чрезвычайно строг и с различной степенью эксплицитности проявляется на протяжении всего творчества Фуко.

Когда Гоголь писал свой шедевр, рассказывающий о записи мертвых душ, он объяснял, что его роман — это поэма, и указывал, почему именно этот роман непременно должен быть поэмой. Не исключено, что Фуко в своей археологии создает не столько дискурс о собственном методе, сколько поэму о своем предыдущем творчестве и достигает того уровня, где философия обязательно становится поэзией, поэзией того, что говорится, поэзией и бессмыслицы, и самого глубокого смысла. В какой-то мере Фуко может заявлять, что всю свою жизнь он писал только художественные произведения: ведь, как мы уже видели, высказывания напоминают грезы, и в них все меняется, словно в калейдоскопе, в зависимости от принимаемого для анализа свода и вычерчиваемой диагонали. Но если взглянуть на проблему иначе, то можно также сказать, что всю свою жизнь он занимался только документальным описанием действительности, используя реальный язык для описания реальности, так как в высказывании все реально и вся реальность там явлена.

Существует столько разных множеств. Тут наблюдается не только великое противостояние дискурсивных и недискурсивных множеств, но еще и среди дискурсивных — разнообразные семейства или формации высказываний, список которых предельно открыт и меняется от эпохи к эпохе. А кроме того существуют виды высказываний, характеризующиеся определенными “пороговыми значениями”: одно

и то же семейство может захватывать несколько видов, а один и тот же вид — характеризовать несколько семейств. К примеру, наука подразумевает определенные виды порогов, пройдя через которые высказывания достигают “эпистемологизации”, “научности” или даже “формализации”. Но никогда одна наука не охватывает всего семейства высказываний или той дискурсивной формации, в рамках которой она сложилась: статус и научные претензии психиатрии не ликвидируют юридических текстов, литературных выражений, философских размышлений, политических решений или же массовых мнений, образующих неотъемлемую часть соответствующей дискурсивной формации²⁶. Самое большее, на что способна одна научная дисциплина, это ориентировать свою формацию, систематизировать или формализовать некоторые из своих областей, рискуя при этом приобрести идеологическую функцию, которую было бы неправильно воспринимать только как следствие несовершенства этой науки. Одним словом, одна наука располагается в определенном участке знания, который целиком она не поглощает, в формации, которая сама по себе является объектом знания, а не науки. Знание — это не наука и даже не познание; его объект составляют ранее уже определенные множества или, точнее, четкое множество со своими единичными точками, местами и функциями, которые и описывает само знание. “Дискурсивная практика не совпадает с научным развитием, которому она может дать место; знание, которое она образует, не является ни необработанным наброском, ни побочным продуктом повседневной жизни, образованным наукой”²⁷. Однако вполне понятно, что некоторые множества, некоторые формации не направляют неотступно следующее за ними знание к эпистемологическим порогам. Они задают знанию иные направления, с совершенно иными порогами. Мы даже не имеем в виду того, что некоторые семейства “неспособны” к науке, за исключением случаев перераспределения и подлинной мутации (как обстояло дело с тем, что предшествовало психиатрии в XVII и XVIII веках). Мы, скорее,

²⁶ АЗ, 234/178.

²⁷ АЗ, 240/183.

спрашиваем себя, а нет ли, скажем, эстетических порогов, которые задают знанию не научное, а иное направление и могут дать возможность определить литературный текст или произведение изобразительного искусства в рамках дискурсивных практик, к которым они принадлежат. Или порогов этических, порогов политических: можно продемонстрировать, каким образом запреты, исключения, ограничения, нарушения или свобода “связаны с определенной дискурсивной практикой” во взаимоотношении с недискурсивными средами, более или менее способными приблизиться к революционному порогу²⁸. Так во всех регистрах множеств формируется археологическая поэма, но образуется она и в каждой уникальной записи сказанного, во взаимосвязи с событиями, общественными институтами и всеми прочими практиками. Существеннейшая черта “Археологии” заключается не в том, что ее автору удалось преодолеть научно-поэтическую двойственность, еще обременявшую труды Башляра. И не в том, что Фуко нашел способ научной обработки литературных текстов. Главное ее достоинство состоит в открытии и размежевании тех новых сфер, где и литературная форма, и научная теорема, и повседневная фраза, и шизофреническая бессмыслица, и многое другое являются в равной мере высказываниями, хотя и несравнимыми, несводимыми друг к другу и не обладающими дискурсивной эквивалентностью. Как раз этого пункта никогда не удавалось достичь ни логикам, ни формалистам, ни толкователям. И наука, и поэзия являются в равной степени знанием.

Но что же определяет границы семейств, дискурсивных формаций? Как можно представить себе разрывы между ними? Этот вопрос существенно отличается от вопроса о пороге. Но и здесь тоже не подойдет ни аксиоматический, ни даже собственно структурный метод. Ибо смена одной формации на другую не обязательно происходит на уровне наиболее общезначимых или же наилучшим образом формализуемых высказываний. И лишь серийный метод, который сегодня применяют историки, дает возможность построить серию в непосредственной близости от единичного

²⁸ АЗ, 251—255/191—194.

пункта и поискать другие серии, продолжающие ее в других направлениях и на уровне других пунктов. Всегда существуют такие моменты и такие места, где серии начинают отклоняться друг от друга и распределяться в новом пространстве: здесь-то и происходит разрыв. Серийный метод основан на единичностях и на кривых. Фуко замечает, что этот метод, похоже, приводит к двум противоположным результатам: с одной стороны, он заставляет историков работать с очень большими и отдаленными друг от друга разрывами, а с другой стороны побуждает эпистемологов приумножать разрывы зачастую весьма краткой протяженности²⁹. С этой проблемой мы еще встретимся. Однако в любом случае главное здесь то, что построение серий в рамках поддающихся определению множеств делает невозможным какое бы то ни было распределение эпизодов в пользу истории, каковой себе ее представляли философы, истории, сочиненной во славу Субъекта (“превращая исторический анализ в дискурс непрерывности, а человеческое сознание — в исходный субъект становления и практики, — мы сталкиваемся с двумя сторонами одной и той же системы мышления: время, понятое в рамках всеобщности и революций никогда не было ничем иным, кроме как моментом сознания...”³⁰). Тем, кто всегда ссылается на Историю и возражает против неопределенности такого понятия, как, например, “мутация”, следует напомнить о замешательстве, которое испытывают настоящие историки, когда возникает необходимость объяснить, почему капитализм возникает в таком-то месте и в такой-то момент, хотя, судя по целому ряду факторов, он мог бы возникнуть в иных местах и в иное время. “Проблематизировать серии...”. Формации, семейства, множества, независимо от того, дискурсивны они или нет, всегда историчны. Они являются не только составными частями сосуществования, но и неотделимыми от “временных векторов деривации”, и когда возникает новая формация с новыми правилами и новыми сериями, она никогда не возникает сразу, в од-

²⁹ АЗ, 15—16/7—8 (а о серийном методе в истории см. *Braudel F. Ecrits sur l'histoire*. Flammarion.)

³⁰ АЗ, 22/15.

ной фразе или в едином творческом порыве, а всегда складывается “по кирпичику”, неся с собой пережитки, сдвиги и реактивации прежних элементов, сохраняющихся в условиях действия новых правил. Несмотря на изоморфизмы и изотопию, никакая формация не строится по модели другой. Следовательно, теория разрывов является основной частью системы³¹. Необходимо проследивать серии, пересекать уровни, переступать через пороги, никогда не ограничиваясь развертыванием феноменов и высказываний по горизонтальному или же вертикальному измерению, не всегда образовывать трансверсаль, некую подвижную диагональ, по которой и должен перемещаться архивариус-археолог. Суждение Булеза о разреженной вселенной Веберна применимо и к Фуко, и к его стилю: “Он создал новое измерение, которое мы могли бы назвать диагональным, своего рода распределение точек, блоков и фигур уже не на плоскости, а в пространстве”³².

Новый картограф

(“Надзирать и наказывать”)

Творчество Фуко никогда не было для него самоцелью. Именно это и делает его большим писателем, наполняя все более очевидным смехом то, о чем он пишет. Божественная комедия наказаний — это просто какое-то элементарное право созерцать, как в гипнотическом сне, не в силах порой удержаться от безумного смеха при виде такого количества извращенных изобретений, продуманных до мелочей мерзостей и циничных дискурсов. От антимастурбационных устройств для детей до тюремных механизмов для взрослых развертывается це-

³¹ Существует две проблемы, одна из которых, практическая, сводится к тому, чтобы узнать, где должны находиться точки разрыва в каждом конкретном случае, а другая, теоретическая, от которой зависит первая: она относится к самому понятию “разрыв” (в этом отношении структурную концепцию Альтюссера следует противопоставлять серийной концепции Фуко).

³² *Boulez P. Relevés d'apprenti. Seuil, 372.*

лая цепь, возбуждающая неожиданный смех, который вдруг останавливают стыд, картины страдания или смерти. Палачи смеются редко, да и смех у них не такой, как у всех. Уже Валлес описывал свойственное революционерам ощущение веселья среди ужаса, которое противостояло ужасному веселью палачей. Нужно только, чтобы ненависть была достаточно живой, чтобы из нее можно было что-то извлечь: великую, лишенную двусмысленности радость, не радость ненависти, а радость от желания разрушить то, что калечит жизнь. Книга Фуко наполнена радостью и ликованием, сливающимся с блеском стиля и изысканной организацией содержания. Она ритмизована жестокими описаниями, сделанными с любовью: великая пытка Дамьена* и его бедолаг; город, разделенный во время чумы на охраняемые участки; вереница каторжников, идущих через город и обменивающихся репликами с народом; а потом, совсем наоборот, новая изолирующая машина, тюрьма, тюремный экипаж или автомобиль, свидетельствующие об иной "чувствительности в искусстве наказания". Фуко и раньше умел писать изумительные картины на фоне своих анализов. Здесь же анализ делается все более микрофизическим, а картины — все более физическими, отражая "результаты" анализа не в смысле причинно-следственной связи, а в смысле оптическом, световом, цветовом: от красного на красном фоне при изображении пыток до серого на сером фоне тюрьмы. Анализ и картина идут рука об руку: микрофизика власти и политическое функционирование тела. Цветные картинки на миллиметровой бумаге. Эту книгу можно читать и как продолжение предыдущих книг Фуко, и как нечто новое, знаменующее собой решительный шаг вперед.

То, что смутно или даже хаотично характеризовало гошизм, теоретически представляет собой новую постановку вопроса о власти, направленную как против марксизма, так и против буржуазных концепций, а практически — это была определенная форма локальной, специфической борьбы, в которой взаимосвязи и необходимое единство уже больше не могли основываться на процессах тотализации или цент-

*Дамьен Робер Франсуа (1715—1757) совершил неудачную попытку покушения на Людовика XV, был четвертован (*Прим. ред.*).

рации, а основывались, по словам Гваттари, на некоей трансверсальности. Оба эти аспекта, и практический, и теоретический, были тесно связаны между собой. Однако гошизм все же продолжает сохранять и вбирать в себя определенные весьма обобщенные элементы марксизма, чтобы снова погрязнуть в последнем, например, восстанавливая групповую централизацию и в результате возвращаясь к прежней практике, в том числе и к сталинизму. Возможно, функционировавшая с 1971 по 1973 гг. ГИТ (Группа информации по тюрьмам), получила импульс от Фуко и Дефера, как группа, которая сумела избежать этих рецидивов, благодаря оригинальному типу взаимосвязей между борьбой в тюрьмах и прочими видами борьбы. А когда в 1975 году Фуко снова вернулся к теоретическим публикациям, то, по нашему мнению, он стал автором той новой концепции власти, которую искали многие, но не смогли ни обнаружить, ни сформулировать.

Именно об этом идет речь в “Надзирать и наказывать”, хотя сам Фуко говорит об этом только на нескольких страницах, в самом начале книги. Всего на нескольких страницах, потому что он пользуется методом, не имеющим ничего общего с методом “тезисов”. Он довольствуется тем, что предлагает отказаться от некоторых постулатов, прежде характеризовавших традиционную позицию левых¹. А для более подробного изложения этой проблемы пришлось ждать выхода “Воли к знанию”.

Постулат собственности: власть считалась “собственностью” того класса, который ее завоевал. Фуко же доказывает, что власть осуществляется не так и находится не тут: она является не столько собственностью, сколько стратегией, а ее действенность зависит не от присвоения, “а от расположения, от маневров, от тактики, от техники, от функционирования”; “она — не столько владение, сколько действие, и представляет собой не приобретенную или сохраненную привилегию господствующего класса, а следствие совокупности ее стратегических позиций”. Этот новый функционализм, этот функциональный анализ, разумеется, не отрицает существования классов и их борьбы, но

¹ НН, 31—33.

предлагает совершенно иную картину с другими пейзажами, персонажами и процессами, нежели та, к которой нас приучила традиционная, в том числе и марксистская, история: “неисчислимые пункты противостояния, очаги нестабильности, каждый из которых по своему чреват конфликтами, борьбой и, по меньшей мере, временной инверсией соотношения сил”, при отсутствии аналогий и гомологий, при отсутствии однозначности, но при наличии оригинального типа возможной преемственности. Короче говоря, власть не обладает гомогенностью, а определяется единичностями, теми сингулярными точками, которые она пересекает.

Согласно постулату локализации, власть считалась властью Государства, располагающейся внутри государственного аппарата, и настолько централизованной, что даже “частные” органы власти только казались рассеянными, будучи в действительности лишь специфическими аппаратами Государства. Фуко же доказывает, что само Государство возникает как результат совместного действия или как равнодействующая функционирования множества механизмов и очагов, расположенных на совершенно ином уровне и самостоятельно образующих “микрофизику власти”. Не только частные системы, но и очевидные элементы государственного аппарата имеют такое происхождение и используют такие методы, которые Государство, скорее, ратифицирует, контролирует, либо просто прикрывает, нежели учреждает. Одна из основных мыслей книги “Надзирать и наказывать” состоит в том, что современные общества можно определить как общества “дисциплинарные”; однако дисциплина здесь не может быть отождествлена ни с каким общественным институтом или государственным аппаратом именно потому, что она представляет собой тип власти, технологию, которая пронизывает все возможные аппараты и институты, связывая их между собой, продлевая их существование, побуждая их к конвергенции и проявлению в новом режиме. Даже если это конкретные элементы или механизмы, принадлежащие Государству с такой же очевидностью, как и полиция или тюрьма: “Хотя полиция как общественный институт действительно была

организована в виде государственного аппарата, и хотя она действительно была подчинена центру верховной политической власти, реализуемый ею тип власти, пускаемые ею в ход механизмы и элементы, к которым она их применяет, являются сугубо специфическими”, поскольку задача ее состоит в том, чтобы способствовать проникновению дисциплины в недолговечные частности социального поля, тем самым свидетельствуя о своей значительной независимости по отношению к судебному и даже к политическому аппарату². Тюрьма же тем более не является порождением “политико-правовых структур общества”, и было бы ошибкой ставить ее в зависимость от эволюции права, даже если это уголовное право. Что касается установления меры наказания, то тюрьма в этом также располагает необходимой для себя автономией, и это, в свою очередь, свидетельствует о ее “дисциплинарном приложении”, выходящем за рамки аппарата Государства, когда она его обслуживает³. Короче говоря, функционализму Фуко соответствует современная топология, которая не указывает на привилегированное место в качестве источника власти и не допускает точечной локализации (здесь перед нами концепция социального пространства, столь же новая как и концепция физических и математических пространств; актуальная и для представления о неразрывности, о чем говорилось выше). Заметим, что слово “локальный” имеет два совершенно разных смысла: власть локальна потому, что она никогда не бывает глобальной; однако власть не локальна и не локализуема из-за того, что она диффузна.

Согласно постулату о субординации, власть, воплощенная в государственном аппарате, считалась подчиненной способу производства как базису. В общем, конечно, можно найти соответствия между великими карательными режимами и системами производства: в частности, дисциплинарные механизмы неотделимы от демографического взрыва, происшедшего в XVIII столетии и от роста производства, которое стремится к увеличению доходности, к сложению сил, к “извлечению” из тел всей их “полезной

² НН, 215—217.

³ НН, 223, 249, 251.

мощности". Но даже если признать за надстройкой способность к ответным действиям или к обратной связи, все равно трудно видеть в ней проявление экономической детерминированности "в конечном счете". На практике вся экономика, включая, к примеру, ту же самую мастерскую или завод, предполагает эти механизмы власти уже действующие изнутри на тела и на души, действующие внутри экономического поля, на производительные силы и производственные отношения. "Отношения власти не находятся в позиции, внешней по отношению к другим типам взаимоотношений... не осуществляются где-то в надстройке... они располагаются там, где они играют непосредственно производительную роль"⁴. Тому пирамидальному образу власти, который еще сохраняется в марксизме, функциональный микроанализ противопоставляет строгую имманентность, где очаги власти и дисциплинарные технологии образуют соответствующее количество неразрывно связанных друг с другом сегментов, через которые проходят либо пребывают в них душой и телом (в семье, в школе, в казарме, на заводе, а по необходимости и в тюрьме) принадлежащие к массе индивиды. Среди отличительных черт власти мы обнаруживаем имманентность ее поля без трансцендентной унификации, непрерывность ее линии без какой-либо глобальной централизации, смежность сегментов без отчетливой тотализации: то есть серийное пространство⁵.

Согласно постулату о сущности или о свойстве, власть обладает сущностью и является свойством, характеризующим тех, кто ею располагает (как господствующих), отличая их от тех, на кого она распространяется (как подчиненных ей). Однако у власти нет сущности, ибо она оперативна. Власть является не свойством, а отношением: отношения власти представляют собой совокупность отношений сил, которые пронизывают подвластные силы, в не меньшей степени, чем господствующие, при том, что и те, и другие представляют собой единичности — сингулярности. "Власть проникает в них [в подвластные силы], проходит через

⁴ ВЗ, 124.

⁵ НН, 148 (пирамидальная фигура, несомненно, существует, но ее функция диффузна и распределена по всем ее поверхностям).

них и сквозь них, опирается на них, так же как и они в борьбе с нею в свою очередь опираются на все “точки опоры”, которые она образует среди них”. Анализируя королевские указы о заточении без суда и следствия, Фуко показывает, что “королевский произвол” не идет сверху вниз в качестве свойства трансцендентной власти короля, а выпрашивается находящимися внизу: родственниками, соседями или коллегами, которые готовы заточить в тюрьму любого, даже самого ничтожного смутьяна и пользуются абсолютным монархом как своего рода имманентной “общественной службой”, способной урегулировать семейные, супружеские, соседские или же профессиональные конфликты⁶. Следовательно, королевский указ о заточении без суда и следствия предстает здесь как предтеча того явления, которое в психиатрии мы называем “принудительным помещением в лечебное учреждение”. Дело в том, что отношения власти осуществляются отнюдь не в какой-то общей или особо пригодной для этого сфере, но проникают повсюду, где имеются хотя бы минимальные сингулярности, такие отношения сил, как “споры между соседями, ссоры между родителями и детьми, недоразумения между супругами, алкогольные напитки, сексуальные излишества, публичные дразги и разные тайные страсти”.

Согласно постулату о модальности, власть действует то насильем или через идеологию, то она подавляет, то обманывает или вселяет веру, приближает то к полиции, то к пропаганде. Альтернатива представляется иррелевантной (и это хорошо видно на примере съезда любой политической партии: в зале и даже на улице могут бушевать страсти; на трибуне всегда много разговоров об идеологии; однако организационные проблемы, проблемы организации власти улаживаются где-нибудь в сторонке, в смежном зале). Власть не осуществляется посредством идеологии, даже в тех случаях, когда она направлена на души, а в тот момент, когда власть оказывает давление на тело, она не обязательно действует путем насилия и репрессий. Или, точнее, насилие выражает воздействие силы на *нечто*, будь то предмет или человек. Но оно не выражает властных взаимоотношений,

⁶ ЖПЛ, 22—26.

то есть *взаимоотношений между силой и силой*, “действия, направленного на действие”⁷. Взаимоотношения сил дают нам функцию типа “возбуждать, подстрекать, комбинировать...”. Когда речь заходит о дисциплинарных обществах, говорят: распределять, классифицировать, компоновать, нормализовать. Этот список бесконечен и меняется в каждом конкретном случае. Прежде чем подавлять, власть “порождает действительность”. И она также порождает истину, прежде чем начинает идеологизировать, абстрагировать или маскировать⁸. В “Воле к знанию” на примере сексуальности, взятом как наиболее характерный, показывается, как можно верить в реальность подавления сексуальности в языке, если ограничиться только словами и фразами. Однако мы придем к совершенно иному выводу, если извлечь доминантные высказывания, в частности, процедуры признания в церкви, в школе, в больнице, в которых обнаруживается стремление докопаться одновременно и до реальности секса, и до истины в сексе; таким образом получается, что репрессии и идеология не объясняют ничего, но всегда предполагают некий распорядок или некое “установление”, в рамках которого они действуют, а не наоборот. Фуко знает и о репрессиях, и об идеологии, но для него, так же, как в свое время и для Ницше, они являются не главными участниками противоборства сил, а всего лишь пылью, поднимающейся во время битвы.

Согласно постулату о законности, власть Государства вроде бы выражается в законе, который воспринимается то как состояние мира, навязываемое грубым силам, то как результат борьбы или войны, выигранной сильнейшими (но в обоих этих случаях закон определяется через вынужденное или добровольное прекращение войны и противопоставляется беззаконию, которое он определяет методом исключения; революционеры могут лишь апеллировать к другой законности, устанавливаемой в результате завоевания власти и учреждения другого государственного аппа-

⁷ Текст Фуко в: *Dreyfus H.R., Rabinow P. Michel Foucault, un parcours philosophique*. Gallimard, 313.

⁸ НН, 196.

рата). Одной из наиболее глубоких тем в рассматриваемой книге Фуко стала замена этой чересчур грубой оппозиции “закон-беззаконие” более тонкой корреляцией “незаконности-законы”. Закон всегда представляет собой сочетание незаконностей, которые он, формализуя, дифференцирует. Достаточно рассмотреть совокупность законов о торговых обществах, чтобы увидеть, что законы не противостоят незаконностям глобально, а вполне недвусмысленно используются как средство, с помощью которого обходятся другие законы. Закон — это способ управления незаконностями, теми, которые он допускает, делает возможными или же придумывает в качестве привилегий для господствующего класса, и другими, которые он терпит как своего рода компенсацию для подавляемых классов, в то же время используя их в интересах господствующего класса; наконец, это способ управления такими незаконностями, которые он запрещает, изолирует и пользуется ими, как объектом, но одновременно и как средством господства. Так, например, основанием для изменений законов на протяжении XVIII века являлось перераспределение незаконностей, причем не только потому, что у правонарушений возникала тенденция к изменению характера и их объектом все чаще становилась собственность вместо личности, но еще и потому, что дисциплинарные власти стали по-иному перекраивать и формализовать эти правонарушения, определяя их новую форму с помощью названия “преступная деятельность”, что дало возможность провести новую дифференциацию незаконных действий и установить новый вид контроля над ними⁹. Несомненно, что некоторые случаи массового сопротивления революции 1789 года объясняются тем, что нарушения закона, терпимые или привычные при старом режиме, республиканская власть не пожелала терпеть. Однако общим для всех западных республик и монархий является то, что сущность Закона воз-

⁹ НН, 84, 278. Интервью в “Монде”, 21 февраля 1975 г.: “Незаконность не есть ни случайность, ни более или менее неизбежное несовершенство... Я бы даже сказал, что закон создан не для того, чтобы препятствовать тому или иному типу поведения, а для того, чтобы дифференцировать способы обходить сам закон”.

водится ими в предполагаемый прицип власти с целью придать себе гомогенную юридическую представительность: так “юридической модели” удалось прикрыть собой стратегическую карту¹⁰. Тем не менее, эта карта незаконностей продолжает функционировать по правилам модели законности. И Фуко доказывает, что закон является состоянием мира не в большей степени, чем результат выигранной войны: он сам — война и стратегия этой продолжающейся войны, точно так же, как власть — это не собственность, приобретенная господствующим классом, а реальное осуществление его стратегии.

Можно сказать, что все это выглядит как появление, чего-то нового после Маркса. Похоже на то, что заговор молчания вокруг Государства оказался, наконец, нарушенным. Фуко не довольствуется утверждениями о том, что некоторые понятия следует пересмотреть, он даже не говорит этого, он это делает, предлагая тем самым новые координаты для практического действия. Где-то в глубинах грохочет битва с ее локальными тактиками и общей стратегией, но она действует не тотально, а с помощью промежуточных этапов, пригонок, конвергенций, наращиваний. Речь идет, скорее, о вопросе “Что делать?”. Теоретическая привилегия, которую обычно предоставляют государству как аппарату власти, определенным образом влечет за собой практическую концепцию направляющей и централизующей партии, которая захватывает государственную власть; на самом же деле, наоборот, именно эта организационная концепция партии оправдывается данной теорией власти. Цель книги Фуко — иная теория, иная практика борьбы, иная стратегическая организация.

Предыдущей книгой была “Археология знания”. Какую эволюцию мысли отражает книга “Надзирать и наказывать”? “Археология” была не только книгой размышлений или же теорией общей методологии, она давала новую ориента-

¹⁰ ВЗ, 114—120, 135. Фуко никогда не поддерживал культ “правового” Государства, и легалистская концепция, по его мнению, ничем не лучше репрессивной. В обоих случаях это, собственно, одна и та же концепция власти: в первом случае закон действует как внешняя реакция на желания, а во втором — как внутреннее условие желания: ВЗ, 109.

цию, новый взгляд на все предшествующие книги. “Археология” предлагала ввести различие между двумя типами практических формаций: одни из них являются “дискурсивными”, или высказываниями, а другие — “недискурсивными”, или средами. К примеру, в конце XVIII века клиническая медицина была дискурсивной, однако в качестве таковой она входила во взаимоотношения с массами и группами населения, зависевшими от иного типа формации и предполагавшими тем самым существование недискурсивных сред: “общественные институты, политические события, экономические практики и процессы”. Разумеется, эти среды также порождают высказывания, а высказывания таким же образом определяют характер среды. Но как бы то ни было, эти две формации различны, хотя и пронизывают друг друга: между ними нет ни соответствий, ни изоморфизма, ни прямой причинно-следственной связи, ни символизации¹¹. Следовательно, “Археология” явилась промежуточным звеном: она четко разграничила две формы, но задаваясь целью определить форму высказываний, ограничилась негативным определением другой формы как “недискурсивной”.

Книга “Надзирать и наказывать” стала новым шагом. Скажем, есть, например, такая “вещь”, как тюрьма: она представляет собой формацию среды (“карцеральной” среды), и еще она — *форма содержания* (содержимым ее является узник). Но эта вещь, или форма отсылает не к “слову”, которое могло бы ее обозначать, равно как и не к означаемому, для которого она была бы означаемым. Она отсылает к совершенно иным словам и понятиям, таким как “преступная деятельность” или “правонарушитель”, в которых выражается новый способ высказывания о нарушениях законности, наказаниях и их субъектах. Назовем такой вид высказываний формой выражения. Между тем, хотя эти две формы и возникли в одно и то же время, в XVIII веке, они от этого не становятся менее различными. Уголовное право проделало эволюцию, которая заставила его формулировать высказывания о преступлениях и наказаниях в контексте “защиты общества” (уже не мести и не

¹¹ АЗ, 212—213/162—163.

восстановления поправных прав суверена): эти знаки адресовались душе или духу и устанавливали ассоциации идей между правонарушениями и наказаниями (код). Тюрьма же как таковая стала новым способом воздействия на тело, и происхождение у нее совершенно иное, чем у уголовного права: “Тюрьма, суровый образ, в котором сгущены все виды строгого порядка, не является эндогенным элементом в исправительной системе, определившейся на рубеже XVIII—XIX веков”¹². Суть в том, что уголовное право имеет отношение лишь к тому, что может быть сказано о проблеме преступности: это некий строй языка, классифицирующий правонарушения, привлекающий правонарушителей к судебной ответственности и “отмеряющий” наказания; это одно из семейств высказываний, а также еще и порог. Тюрьма же, со своей стороны, имеет дело со зримым: она не только претендует на то, чтобы сделать наглядно видимым преступление и преступника, но и сама образует некую видимость; прежде, чем стать образом камня, она формирует некий “режим света”, она характеризуется “паноптизмом”, то есть своеобразным визуальным расположением и световой средой, где надзиратель может видеть все без риска самому быть увиденным, а заключенные все время находятся в поле зрения и ничего не видят сами (центральная башня и камеры по кругу)¹³. Режим света и строй языка не обладают одной и той же формой и относятся к разным формациям. Теперь мы лучше понимаем, что Фуко непрестанно изучал эти две формы и в предыдущих книгах: в “Рождении клиники”, по его собственным словам, — зримое и высказываемое; в “Истории безумия” — безумие в том виде, как его видят в больнице общего профиля, и безрассудство в той форме, в какой о нем говорится в медицине (а в XVII веке лечили не в больницах). То, что было постоянной темой всего творчества Фуко и существование чего было признано в “Археологии”, но обозначено лишь негативно, как недискурсивные среды, находит в книге “Надзирать и наказывать” свою

¹² НН, II часть, гл.1 (о движении, реформировавшем Уголовный Кодекс, и его высказывания) и гл.2 (почему тюрьма не входит в эту систему и отсылает к другим моделям).

¹³ НН, III, гл.3 (описание “Паноптикона”).

позитивную форму: зримая форма в ее противопоставлении форме высказываемого. Например, в начале XIX века зрими-ми становятся массы и группы народонаселения, они “выходят на свет”, и в то же самое время медицинские высказывания завоевывают новые сферы высказываемого (повреждения тканей и анатомо-физиологические корреляции...)¹⁴.

Разумеется, у тюрьмы, как содержательной формы, есть и собственные высказывания, и свои уставы. Разумеется, уголовное право как форма выражения, как совокупность высказываний о преступной деятельности обладает своим содержанием, хотя бы в том, что касается нового типа правонарушений: не столько нападения на личность, сколько посягательства на собственность¹⁵. И обе эти формы непрестанно контактируют, проникают одна в другую так, что каждая может присвоить себе часть другой: уголовное право не перестает препровождать заключенных в тюрьму, обеспечивать их приток, тогда как тюрьма непрестанно воспроизводит преступную деятельность, превращая ее в “объект”, и осуществляет цели, понимаемые уголовным кодексом по-иному (защита общества, перевоспитание осужденного, изменение наказания в зависимости от конкретных обстоятельств, индивидуальный подход)¹⁶. Эти две формы предполагают друг друга. И, однако же, у них нет ни общих проявлений, ни сходства, ни даже соответствия. Как раз в этом пункте книга “Надзирать и наказывать” выдвигает две проблемы, которые не могла сформулировать “Археология”, так как она основывалась на Знании и на примате высказывания в знании. С одной стороны, существует ли вообще в социальном поле какое-либо общее основание, независимое от форм? С другой стороны, насколько взаимодействие, подгонка двух форм, и их взаимное проникновение гарантированы в каждом конкретном случае?

Форма заявляет о себе в двух направлениях: она образует или организует разные виды материи; она формирует функ-

¹⁴ АЗ, 214/163.

¹⁵ НН, 77—80 (об эволюции и изменениях видов правонарушений).

¹⁶ НН, IV, гл.1 и 2: как тюрьма заставляет признать себя в другую эпоху и вступает в корреляцию с системой уголовных наказаний, чтобы “производить” преступную деятельность или образовывать некую “преступную деятельность — объект” (282).

ции или ставит перед ними цели. К оформленным видам материи относятся не только тюрьма, но и больница, школа, казарма, мастерская. Наказание является формализованной функцией, равно как и лечение, воспитание, муштра, принуждение к работе. Нельзя отрицать, что между двумя формами существует своего рода соответствие, хотя они и несводимы друг к другу (в самом деле, в XVII веке медицинское обслуживание не имело отношения к больнице как общественному учреждению, а уголовный кодекс в XVIII веке по существу не был связан с тюрьмой). Как же тогда объяснить коадаптацию форм? Дело в том, что мы можем представить себе чистые виды материи и чистые функции, абстрагируясь от форм, в которых они воплощаются. Когда Фуко дает определение паноптизму, он определяет его либо конкретно, как оптическую или световую организацию, характеризующую тюрьму, либо абстрактно, как некую машину, которая не только применяется для определения любой зримой материи вообще (мастерской, казармы, школы, больницы в той же мере, что и тюрьмы), но также и пронизывает вообще все высказываемые функции. Следовательно, абстрактной формулой Паноптизма будет уже не “видеть, не будучи видимым”, а *навязывать какой-либо тип поведения любому человеческому множеству*. Необходимо лишь уточнить, что рассматриваемое множество должно быть уменьшено, помещено в ограниченное пространство и что навязывание определенного типа поведения осуществляется путем перераспределения в пространстве, расположения и классификации во времени, компоновки в пространстве-времени...¹⁷. Это бесконечный список, и касается он всегда неформальных и неорганизованных видов материи, неформализованных и нецеленаправленных функций, притом, что обе переменные неразрывно связаны между собой. Как же назвать это новое неформальное измерение? Фуко однажды уже дал ему наиболее точное определение: это “диаграмма”, то есть

¹⁷ Эти уточнения необходимы тем более, что ВЗ обнаружит другую пару соотношений материи—чистых функций: на этот раз все множества будут многочисленными и разместятся в открытом пространстве, а функцией будет уже не навязывание определенного типа поведения, а “управление жизнью”. ВЗ сопоставляет обе пары, 182—185; мы еще вернемся к этому вопросу.

“функционирование, абстрагированное от любого препятствия или трения..., от всякого конкретного использования”¹⁸. Диаграмма — это уже не архив (слуховой или зрительный), это карта, картография, равнообъемная любому социальному полю. Это некая абстрактная машина*. Поскольку она определяется через функции и неоформленные виды материи, она не знает никакого формального различия между содержанием и выражением, между дискурсивной и недискурсивной формациями. Это почти немая и слепая машина, хотя именно она выявляет и заставляет высказываться.

Существует множество диаграмматических функций и даже типов материи, и связано это с тем, что всякая диаграмма представляет собой пространственно-временное множество. Это связано также и с тем, что диаграмм существует столько же, сколько социальных полей в истории. Когда Фуко употребляет понятие диаграммы, он делает это в связи с нашими современными дисциплинарными обществами, где власть производит разбивку всего поля на квадраты: если здесь и присутствует модель, то это модель “чумы”, по которой зараженный город разбивается на участки, и которая проявляется во всем, вплоть до мельчайших деталей. Когда же в качестве предмета анализа берутся старые общества самодержавного типа, видно, что и они не обходятся без диаграмм, хотя это другие виды материи и другие функции: там тоже одна сила воздействует на другие силы, но не столько для того, чтобы сочетать и компоновать, сколько для того, чтобы изымать; не столько для детализации, сколько для разъединения массы; скорее для изгнания болезни, нежели для разделения пораженного эпидемией города

¹⁸ НН, 207, (в этой связи Фуко уточняет, что термину «Паноптика» давали явно неудовлетворительное определение, пока его рассматривали только как “архитектурно-оптическую систему”).

* **Машина**, или, точнее, желающая машина — понятие Ж. Делёза и Ф. Гваттари, подробно раскрытое в книге “Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип” (*Capitalisme et schizophrénie: L’Anti-Oedipe*, 1972). Под этим понятием подразумевается самый широкий круг объектов — от человека, действующего в рамках соответствующей культуры (с присущими ей правилами, кодами и ограничениями) до общественно-социальных формаций. Главное во всем этом — акцент на бессознательном характере действий, как социальных механизмов (включая и механизмы власти), так и субъекта, суверенность которого оспаривается с позиций всеисильности бессознательного) (*Прим. перев.*).

на карантинные участки (модель “проказы”)¹⁹. Это уже другая диаграмма и другая машина, более напоминающая театр, чем завод (иным типом взаимодействий между силами). Мало того, существуют еще промежуточные диаграммы, которые отражают переход от одного общества к другому: так, например, “наполеоновская” диаграмма, где дисциплинарная функция сочетается с функцией самодержавного типа “в точке, где смыкаются монархическое правление с самодержавным ритуалом и иерархически перманентным проявлением неограниченной дисциплины”²⁰. Происходит это потому, что диаграммы в высшей степени нестабильны и текучи, они непрестанно перемешивают различные виды материи и функции, тем самым порождая мутации. В конечном счете, любая диаграмма интерсоциальна и находится в становлении. Она никогда не работает на то, чтобы представлять ранее существовавший мир, она производит новый тип реальности, новую модель истины. Она не является ни субъектом истории, ни чем-то, находящимся над историей. Она создает историю, разрушая предшествующие реальности и значения, образуя столько же новых точек их возникновения и созидания, неожиданных соединений и невероятных континуумов. Она удваивает историю становлением.

У всякого общества есть своя или свои диаграммы. Поглощенный работой над определенными сериями, Фуко никогда непосредственно не интересовался так называемыми первобытными обществами. А между тем они могли бы дать ему очень интересный, может быть даже крайне интересный материал для анализа. Ибо они, отнюдь не будучи лишены политики и истории, обладают целой сетью союзов, которые невозможно ни вывести из какой-нибудь структуры родства, ни свести к отношениям обмена между группами племенного объединения. Эти объединения пронизывают мелкие локальные группы, конституируют соотношения сил (дарения и отдаривания) и руководят властью. Здесь диаграмма демонстрирует свое отличие

¹⁹ О сопоставлении этих двух типов, ВЗ, 178—179; а о примере, где модель “проказы” сопоставляется с моделью “чумы”, НН, 197—201.

²⁰ НН, 219.

от структуры в той мере, в какой эти союзы ткут мягкую, трансверсальную сеть, перпендикулярную вертикальной структуре, определяют практику, стратегию или процесс, отличие от любой комбинаторики и образуют нестабильную, никогда не находящуюся в состоянии равновесия физическую систему, а не замкнутый цикл обмена (здесь берет начало полемика Лича с Леви-Строссом, а также социология стратегий Пьера Бурдьё). Из этого не следует, что концепция власти, разработанная Фуко, наилучшим образом подходит для первобытных обществ, о которых он ничего не говорит; скорее из этого следует, что современные общества, о которых он говорит, в свою очередь разворачивают диаграммы, отражающие отношения между наличествующими в них силами или конкретные стратегии каждого общества. По сути, всегда есть основания для поисков под крупными совокупностями, первобытными родственными связями или современными общественными институтами микроотношений, которые не проистекают из них, а, напротив, составляют их основу. Когда Габриэль Тард создавал свою микросоциологию, он делал примерно то же самое; он не объяснял социальное через индивидуальное, а описывал большие совокупности, определяя соотношения между чрезвычайно малыми силами: “имитацию” как распространение какого-нибудь религиозного течения или желания (квант), “изобретательство” как встречу двух имитативных течений... Это были подлинные соотношения сил в той мере, в какой они выходят за рамки обыкновенного насилия.

Так что же такое диаграмма? Это выражение соотношений сил, образующих власть согласно ранее проанализированным признакам. “Паноптический аппарат — это не просто шарнир, не передаточная инстанция между механизмом власти и функцией, это способ заставить функционировать отношения власти в рамках функции и функцию — через отношения власти”²¹. Мы уже видели, что соотношения сил или власти являются микрофизическими, кими, стратегическими, многоточечными, диффузными, что они определяют единичности и образуют чистые функции. Диаграмма или абстрактная машина — это карта соот-

²¹ НН, 208.

ношений сил, карта плотности и интенсивности, которая функционирует при помощи изначальных нелокализуемых связей и в каждое мгновение проходит через любую точку, “или точнее, в пределах каждой взаимосвязи от одной точки к другой точке”²². Разумеется, здесь нет ничего общего ни с трансцендентной Идеей, ни с идеологической надстройкой, как нет ничего общего и с экономическим базисом, уже оцененным по своей сущности и определенным по форме и способу применения. И тем не менее, диаграмма действует как имманентная и неунифицирующая причина, коэкстенсивная всему социальному полю: абстрактная машина выступает в роли причины внутренней организации конкретных взаимодействий, осуществляющих с ее помощью эти соотношения; и эти отношения сил происходят “не наверху”, а в самой ткани формируемых ими схем взаимодействия.

Что означает здесь термин “имманентная причина”? Это причина, которая актуализируется в своем следствии, которая интегрируется в своем следствии и дифференцируется в нем. Или, точнее, имманентной является такая причина, которую актуализирует, интегрирует и дифференцирует ее же следствие. Вот почему между причиной и следствием, между абстрактной машиной и ее конкретными схемами взаимодействия (чаще всего Фуко называет их словом “устройство”) имеются корреляция и взаимодопущение. Если следствия актуализируются, то это происходит потому, что соотношения сил или власти являются всего лишь виртуальными, потенциальными, нестабильными, исчезающими, молекулярными, и определяют они лишь возможности и вероятности взаимодействия, пока не входят в макроскопическое целое, способное придать форму их текучей материи и диффузной функции. Но актуализация — это еще и интеграция, совокупность возрастающих интеграций, сначала локальных, затем глобальных или же имеющих тенденцию становиться глобальными, производящих выравнивание, гомогенизацию, суммирование соотношений сил: например, закон как интеграция незаконностей. Конкретные схемы взаимодействия в школе, мастерской, армии... производят интеграцию оцененных сущностей (детей, рабочих, солдат)

²² ВЗ, 122 (“Власть находится повсюду, и не потому, что она все охватывает, а потому, что она идет отовсюду”).

и целенаправленных функций (воспитание и т.д.), вплоть до Государства, которое стремится к глобальной интеграции, если не к универсальному Рынку²³. Наконец, актуализация-интеграция представляет собой дифференциацию: не потому, что причина в процессе актуализации становится неким высшим Единством, а, напротив, потому, что диаграмматическое множество не может актуализироваться, а дифференциал сил не может интегрироваться иначе, как отправляясь по расходящимся путям, распределяясь до дуализма, следуя линиям дифференциации, без которых все осталось бы в дисперсии причины, не приведшей к своему следствию. То, что актуализируется, может делать это только посредством раздвоения или диссоциации, создавая дивергентные формы, между которыми оно и распределяется²⁴. Именно здесь, следовательно, и возникают великие дуальности, классы, или же правители-управляемые, общественное-частное. Более того: как раз здесь и расходятся или дифференцируются две формы актуализации: форма выражения и форма содержания, дискурсивные и недискурсивные формы, форма зримого и форма высказываемого. И происходит это именно потому, что имманентная причина игнорирует формы, как в их материи, так и в их функциях, потому что она актуализируется в зависимости от центральной дифференциации, которой, с одной стороны, предстоит сформировать зримую материю, а с другой — формализовать высказываемые функции. Между зримым и высказываемым находится зияние, разрыв, но этот разрыв форм представляет собой место, или, как говорит Фуко, “не-место”, где исчезает неформальная диаграмма, чтобы воплотиться в двух непременно дивергентных, дифференцированных, несводимых друг к другу направлениях. Следовательно, конкретные схемы взаимодействия расщепляются, и как раз в появляющихся таким образом зазорах осуществляется работа абстрактной машины.

²³ Об интегрантах, в частности, о Государстве, которые не объясняют власть, а лишь предполагают ее отношения и ограничиваются их возобновлением и стабилизацией, см. ВЗ, 122—124 и текст Фуко в газете “Либерасьон” от 30 июня 1984 г.

²⁴ Взаимоотношения власти как “внутренние условия дифференциации”: ВЗ, 124. Проблему актуализации виртуального, которая всегда является дифференциацией, глубоко проанализировал, например, Бергсон.

Таково решение двух проблем, поставленных в книге “Надзирать и наказывать”. С одной стороны, дуальность форм и формаций не исключает общей имманентной причины, действующей в неоформленном. С другой стороны, эта общая причина, предполагаемая в каждом случае и в каждом конкретном устройстве непрестанно отмеряет смещения, захваты и перехваты элементов или сегментов обеих форм, хотя последние являются и остаются несводимыми друг к другу, гетероморфными. Не будет преувеличением сказать, что всякое устройство представляет собой жидкую кашу, в которой перемешано зримое и высказываемое: “Тюремная система объединяет в одном и том же образе разные виды дискурса и архитектуры”, программы и механизмы²⁵. “Надзирать и наказывать” — это книга, где Фуко явным образом преодолевает очевидный дуализм своих предшествовавших книг (этот дуализм уже проявлял тенденцию к самопреодолению, развиваясь в сторону теории множеств). Если знание состоит в переплетении зримого и высказываемого, то власть выступает как его предполагаемая причина, и наоборот: власть подразумевает знание как бифуркацию, как дифференциацию, без которой она не смогла бы перейти к действию. “Не существует отношения власти без коррелятивного формирования поля знания, как знания, которое не предполагало бы и не конституировало бы одновременно отношений власти”²⁶. Ошибкой и лицемерием было бы считать, что знание появляется лишь там, где взаимодействия между силами временно прекращены. Не существует такой модели истины, которая не отсылала бы к какому-нибудь типу власти; нет ни знания, ни даже науки, которые не выражают или не вмешивают в свою практику какую-либо осуществляющую свои функции власть. Всякое знание движется от зримого к высказываемому и обратно; и все-таки между ними нет ни общей тотализирующей формы, ни даже конформности или взаимно однозначного соответствия. Между ними существуют лишь трансверсально действующие соотношения сил, которые обнаруживают в дуальности форм

²⁵ НН, 276.

²⁶ НН, 32.

условие для собственного действия и собственной актуализации. Если происходит коадаптация форм, то она возникает при их “встрече” (если оказывается вынужденной), а не наоборот: “встреча получает свое обоснование только благодаря новой необходимости, которую она образует”. Так, например, обстоит дело со встречами “зримостей” тюрьмы и высказываниями уголовного права.

Что же Фуко называет машиной, абстрактной или конкретной (он говорит о “машине-тюрьме”, но также и о машине-школе, машине-больнице...)?²⁷ Конкретные машины — это схемы взаимодействия, биформальные устройства, а абстрактная машина — это неформальная диаграмма. Короче говоря, машины бывают социальными прежде, чем стать техническими. Или точнее, прежде, чем появляется технология материальная, существует некая человеческая технология. Несомненно, она оказывает свое воздействие по всему социальному полю, но для того, чтобы она сама стала возможной, необходимо, чтобы ее инструменты и материальные машины были отобраны диаграммой и приняты в схемы взаимодействия. С подобной необходимостью часто сталкивались историки: оружие гоплитов включается в схему взаимодействия военного строя фаланги; стремя избирается диаграммой феодального строя; развитие от палки-копалки к мотыге, а затем к плугу не выстраивается линейным образом, а “отсылает” к соответствующим коллективным машинам, видоизменяющимся в зависимости от плотности населения и времени распашки пара²⁸. В этой же перспективе Фуко демонстрирует, почему винтовка как инструмент существует только в рамках “совокупности устройств, принципом которых является уже не подвижная или неподвижная масса, а геометрия отделяемых и составляемых сегментов”²⁹. Итак, технология представляет собой

²⁷ Ср. НН, 237.

²⁸ Это одна из идей, разделяемых Фуко с современными историками: по поводу палки-копалки и пр. Бродель сказал, что “Орудие есть следствие, а не причина” (*Braudel F. Civilisation matérielle et capitalisme. P., 1979, I, 128*). По поводу оружия гоплитов Детьен писал, что “техника представляет собой до некоторой степени внутреннее явление по отношению к социальному и ментальному” (*Detienne. Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, Mouton. 134*). 29. НН, 165.

²⁹ НН, 165.

явление прежде всего социальное, и только потом — техническое. “По сравнению с доменными печами или с паровой машиной, паноптизм не так хорошо известен... Но было бы несправедливо сравнивать дисциплинарные технологии с такими изобретениями как паровая машина... Их гораздо меньше, и тем не менее, в некотором смысле, их намного больше”³⁰. Если же технологии в узком смысле этого слова “укореняются” в схемах взаимодействия, то происходит это потому, что сами схемы взаимодействия со своими технологиями подбираются с помощью диаграмм: например, тюрьма может существовать в самодержавных обществах как явление маргинальное (письма с королевской печатью о заточении без суда и следствия); как аппарат она начинает существовать лишь с того момента, когда новая диаграмма, диаграмма дисциплинарная, дает ей возможность переступить “технологический порог”³¹.

Все это выглядит так, как если бы абстрактная машина и конкретные схемы взаимодействия образовали два полюса, при том что переход с одного из них на другой происходил бы едва заметно. Порой схемы взаимодействия распределяются по жестким и компактным сегментам, четко отделенным друг от друга перегородками, непроницаемыми границами, выраженными формально (школа, армия, мастерская, в известных случаях — тюрьма, и, как только мы попадаем в армию, нам говорят: “Ты уже не в школе”...). Иногда, напротив, они сообщаются между собой в рамках абстрактной машины, которая наделяет их гибкой и диффузной микросегментарностью, такой, что все они становятся похожими друг на друга, и тюрьма распространяет свою функцию на всех остальных, рассматриваемых теперь как переменные одной и той же, не имеющей формы, сплошной функции (школа, казарма, мастерская — это уже тюрьмы...) ³². Если мы непрерывно переходим с одного полюса на другой, то это происходит оттого, что каждая схема взаимодействия включает эту абстрактную машину,

³⁰ НН, 226.

³¹ НН, 225.

³² Основной текст, НН, 306.

хотя лишь до определенной степени: это нечто вроде коэффициентов осуществления диаграммы, и чем выше степень включения одной схемы взаимодействия, тем сильнее она рассеивается в других схемах, адекватных всему социальному полю. Здесь метод Фуко обретает максимум гибкости. Дело в том, что коэффициент меняется прежде всего от одной схемы взаимодействия к другой: например, военно-морской госпиталь располагается в месте пересечения маршрутов кораблей, размещает контрольные пункты по всем направлениям, контролирует все передвижения, что превращает его в “перекресток”, обладающий высокой степенью проявления абстрактной машины, в медицинское пространство, соответствующее целой диаграмме³³. Однако коэффициент может меняться и внутри одной и той же схемы взаимодействия, и при переходе от одного социального поля к другому, да и в пределах одного и того же социального поля. Так, например, обстоит дело с тремя стадиями тюрьмы: в авторитарных обществах она существует лишь “поодаль” от прочих схем взаимодействия, имеющих отношение к наказаниям, поскольку она реализует диаграмму авторитарной власти лишь в малой степени. И, напротив, она начинает распространяться по всем направлениям и не только берет на себя осуществление целей уголовного права, но и пропитывает своим духом другие схемы взаимодействия, потому что эффективно реализует требования дисциплинарной диаграммы (при этом ей еще нужно избавиться от “дурной репутации”, доставшейся ей от ее предыдущей роли). И, наконец, нельзя быть уверенным в том, что дисциплинарные общества позволили бы тюрьме сохранить этот высокий коэффициент, если бы в своей эволюции они нашли другие средства для реализации своих целей, связанных с осуществлением уголовных наказаний и выполнением диаграммы во всем ее объеме: отсюда тема пенитенциарной реформы, которая все настоятельнее заявляет о себе в социальном поле, чтобы, в

³³ НН, 145—146 (“Медицинский надзор здесь действует заодно с целой серией других видов контроля: военного — над дезертирами, фискального — над товарами, административного — над лекарствами, рационами, исчезновениями, выздоровлениями, смертями, симуляцией...”).

крайнем случае, лишить тюрьму ее образцового характера и вернуть ее к состоянию локализованной, ограниченной и изолированной схемы взаимодействия³⁴. Все происходит так, как будто тюрьма, как ладья, то поднимается, то опускается по шкале реализации дисциплинарной диаграммы. Существует история схем взаимодействия подобно тому, как существуют становление и мутации диаграммы.

Это не только характерно для метода Фуко, но и имеет большое значение для всей его мысли. Часто высказывалось мнение, что Фуко — прежде всего “философ заточения” (общая больница в “Истории безумия”, тюрьма в “Надзирать и наказывать”), хотя это далеко не так, и это недоразумение мешает нам уловить, в чем же состоит его глобальный проект. К примеру, Поль Вирилио считает себя оппонентом Фуко, когда подчеркивает, что проблема современных обществ, проблема “полиции”, заключается не в “заточении”, а в надзоре за путями сообщения, за скоростью или ее превышениями, в овладении скоростями и контроле над ними, в контроле над маршрутами и над районированием открытого пространства. Однако и Фуко всегда говорил то же самое, как об этом свидетельствует и совпадающий у обоих авторов анализ государственных тюрем, и анализ военно-морского госпиталя у Фуко. Это недоразумение не слишком серьезно в случае с Вирилио, так как сила и оригинальность его подхода свидетельствуют о том, что совпадения у самостоятельных мыслителей всегда происходят где-нибудь в бессознательной зоне. Зато оно гораздо серьезнее в тех случаях, когда менее одаренные авторы подхватывают критику “в готовом виде” и укоряют Фуко за то, что он ограничился темой заточения, или даже хвалят его за то, что он так хорошо проанализировал эту форму. В действительности же заточение для Фуко всегда было вторичным параметром, производным от первичной функции, всегда различной в зависимости от конкретных случаев; кроме того, содержание в XVII веке в общей или психиатрической больнице сумасшедших, как и в XVIII и XIX веках содержание правонарушителей в тюрьме — это совершенно разные вещи. Заточение сумасшедших

³⁴ О течениях в области реформы уголовного права и причинах, в силу которых тюрьма перестает быть содержательной формой см. НН, 312—313.

происходило по способу “изгнания” и по модели “проказы”; заточение же правонарушителей — по способу разбивки территории на участки и по модели “чумы”³⁵. Этот анализ принадлежит к числу наиболее ярких страниц произведений Фуко. Но ведь и изгнание, и районирование территории — это в первую очередь функции внешнего характера, которые осуществляются, формализуются и организуются при помощи “аппаратов” заточения. Тюрьма как жесткая (покамерная) сегментарность отсылает к гибкой и подвижной функции, к контролируемому движению, к целой сети, которая охватывает также и свободные среды и может научиться обходиться без тюрьмы. Это несколько похоже на “неограниченную отсрочку наказания” у Кафки, при которой больше нет необходимости ни в аресте, ни в вынесении приговора. Как сказал по поводу Фуко Морис Бланшо, заточение отсылает к некоей внешней среде, а то, что заточено, и есть внешнее, находящееся снаружи³⁶. Схемы взаимодействия заточают либо “снаружи”, либо путем изгнания, и это относится как к психической интериоризации, так и к физической изоляции. Фуко часто упоминает то какую-либо дискурсивную, то недискурсивную форму; однако эти формы вовсе не “заточают” и не интериоризируют; это внешние формы, через которые происходит дисперсия то высказываемого, то зримого. Это общеметодический вопрос: вместо того, чтобы идти от видимого внешнего, к какому-либо существенному “ядру внутреннего”, следует предотвратить иллюзорность внутреннего, чтобы вернуть слова и вещи к конститутивности внешнего³⁷.

Следовало бы также различать несколько, по меньшей мере три, коррелятивных компонента. Прежде всего, имеется *внешнее*, как бесформенный элемент сил: последние приходят извне, зависят от внешнего, которое перемешивает их взаимосвязи, вычерчивает их диаграммы. Затем существует *экстерьер*, как среда конкретных схем взаимодействия, в которых актуализируются взаимосвязи между

³⁵ НН, 197—201 (и ИБ, гл.1).

³⁶ *Blanchot M., L'entretien infini. Gallimard, 292.*

³⁷ Об истории и “систематической форме экстериорности” ср. АЗ, 158—161/121—126.

силами. Наконец, существуют *формы экстериорности* — поскольку актуализация происходит посредством расщепления двух дифференцированных и внешних по отношению друг к другу форм, делящих между собой схемы взаимодействия (заточение и интериоризация — всего лишь преходящие образы на поверхности этих форм). В дальнейшем мы попытаемся проанализировать совокупность этих компонентов в том виде, как она предстает в работе “Мысли извне”. Хотя, наверное, она уже и сейчас позволяет понять, что у Фуко нет ничего замкнутого. История форм, архив дублируются у него становлением сил, диаграммой. Дело в том, что силы возникают “в каждом отношении одной точки к другой”: диаграмма — это карта или, точнее, наложение карт друг на друга. И при переходе от одной диаграммы к другой возникают новые карты. Поэтому не существует такой диаграммы, у которой не было бы наряду с соединяемыми ею точками других точек относительно свободных или несвязанных, точек творчества, мутации, сопротивления; и, возможно, чтобы понять всю совокупность, отправляться следует именно от них. Только исходя из видов “борьбы”, характерных для каждой эпохи, из стиля борьбы, можно понять последовательность сменяющих друг друга диаграмм или новое формирование их цепочек “поверх” разрывов³⁸. Ибо каждый дает свидетельские показания в зависимости от того, как извивается его *внешняя линия*, о которой говорил Мелвилл, океаническая линия без начала и конца, которая проходит через все точки сопротивления, которая катится по диаграммам, сталкивая их друг с другом и каждый раз отвечая новой функции. Как любопытно извивалась линия 1968 года, линия с тысячей аббераций! Вот откуда тройное определение глагола “писать”: писать — это значит бороться, сопротивляться; писать — это значит становиться; писать — это значит заниматься картографией, “Я картограф...”³⁹.

³⁸ НН внезапно прерывается при упоминании “грохота битвы” («я прерываю эту книгу здесь...», 315). Тема “точек сопротивления” будет сформулирована лишь в ВИ (126—127), а типы борьбы в их взаимоотношениях с диаграммами сил будут проанализированы в текстах, написанных после ВИ (ср. *Dreyfus et Rabinow*, 301—304).

³⁹ Интервью в газете “Nouvelles littéraires”, 17 марта 1975.

Топология: мыслить по-иному

Страты, или Исторические формации*: видимое и высказываемое (знание)

Страты являются историческими формациями, позитивностями или эмпиричностью. Как “слои осадочных пород”, они образованы из слов и вещей, из видения и говорения, из зримого и выразимого, из пространств видимости и полей читабельности, из планов содержания и выражения. Эти последние термины мы заимствуем у Ельмслева, но для того, чтобы применить их к Фуко совсем в ином смысле, поскольку содержание у него уже не совпадает с означаемым, а выражение не совпадает с означающим. Речь идет о новой, весьма строгой схеме разделения. Содержание обладает формой и субстанцией: например, тюрьма и те, кто в ней содержится, узники (кто? за что? как?)¹. У выражения тоже есть свои форма и субстанция, например, уголовное право и “преступность”

* Историческая формация — в понимании Фуко — это специфическое проявление функционирования культурного бессознательного в конкретную историческую эпоху в виде различных дискурсивных практик, характерных для каждого времени. В «Археологии знания» Фуко постулирует существование нескольких формаций: «дискурса», объектов, модальностей высказывания, стратегий и т.д. При этом исследователь подчеркивает, что предмет его анализа — вовсе не окончательное состояние дискурса, но системы, устанавливающие возможность последовательных систематических форм; эти *предзавершающие* закономерности, по отношению к которым предельное состояние, далекое от того, чтобы конституировать место рождения системы, определяются, скорее, по их вариантам (Фуко М. Археология знания. Киев, 1996, с. 78. — Прим. перев.).

¹ О “тюрьме-форме” и ее отличиях от современных ей форм выражения (типа уголовного права), см. НН, 233.

как объект высказываний. Подобно тому, как право в качестве формы выражения определяет поле выразимости (высказывания о преступной деятельности), тюрьма как форма содержания определяет место видимости (“паноптизм”, то есть место, откуда в любой момент можно все видеть не будучи видимым). Этот пример отсылает к последнему крупномасштабному анализу страты, проведенному Фуко в книге “Надзирать и наказывать”. Но о том же самом речь шла уже и в “Истории безумия”: в классическую эпоху дом умалишенных возник как “место видимости” сумасшествия в то время, когда медицина формулировала фундаментальные высказывания по поводу “неразумия”. Между этими двумя книгами были еще две: “Реймон Руссель” и “Рождение клиники”, написанные одновременно. Первая показывает, каким образом творчество Русселя делится на две части: изобретение видимостей в зависимости от действия экстраординарных машин и построение высказываний в соответствии со своеобразным “методом”. Другая книга показывает, как в совершенно иной области клиника и патологическая анатомия влекут за собой изменчивые распределения “зримого и высказываемого”.

Никакая “эпоха” не предшествует ни выражающим ее высказываниям, ни заполняющим ее видимостям. Таковы два самых важных аспекта: с одной стороны, каждая страта, каждая историческая формация подразумевает перераспределение зримого и высказываемого, которое совершается по отношению к ней самой; с другой стороны, существуют различные варианты перераспределения, потому что от одной страты к другой сама видимость меняет форму, а сами высказывания меняют строй. Например, в “классическую эпоху” возникает приют для умалишенных как новый способ видеть и показывать душевнобольных, способ совершенно отличный от способов, существовавших в период Средневековья и в эпоху Возрождения; медицина же, со своей стороны (как и юриспруденция, законодательство, литература и т.д.), изобретает такой строй высказываний, в котором фигурирует неразумие как новое понятие. Если высказывания XVII века регистрируют безумие как крайнюю степень неразумия (ключевое

понятие), то психиатрическая больница или тюремное заключение включают его в ансамбль представлений, в котором душевнобольные объединяются с бродягами, с нищими, с разного рода извращенцами. Здесь присутствуют некая “очевидность”, историческая перцепция или же восприимчивость не в меньшей степени, чем дискурсивный строй². Позднее, в других условиях, новым способом видеть и показывать преступление будет тюрьма, а новым способом выражения — преступная деятельность. Каждая страта состоит из сочетания двух элементов: способа говорить и способа видеть, дискурсивностей и очевидностей, и от одной страты к другой обнаруживается вариантность двух элементов и их сочетаемости. От Истории Фуко ожидает именно этой детерминации видимого и высказываемого в каждую эпоху, детерминации, выходящей за пределы типов поведения и ментальностей, а также идей, поскольку она делает их возможными. Но История отвечает только потому, что Фуко смог изобрести (несомненно, в связи с новыми концепциями историков) чисто философский метод задавать вопросы, метод новый и дающий новый импульс Истории.

“Археология знания” сделала методологические выводы и разработала обобщенную теорию двух элементов стратификации: высказываемого и зримого, дискурсивных и недискурсивных формаций, форм выражения и форм содержания. Тем не менее в этой книге, похоже, высказываемому отдается безоговорочное предпочтение. Пространства видимости обозначены только негативно, как “недискурсивные формации”, расположенные в пространстве, которое является всего лишь дополнительным по отношению к полю высказываний. Фуко говорит, что между дискурсивными и недискурсивными высказываниями существуют дискурсивные взаимоотношения. Но он никогда не говорит, что недискурсивное можно свести к высказыванию, что оно является остатком или иллюзией. Существеннейшим вопросом здесь является вопрос о преимуществе:

² Об “очевидности” в больнице XVII века, которая повлекла за собой впоследствии исчезновение “социальной чувствительности”, см. ИБ, 66. То же самое об “очевидности тюрьмы”, НН, 234.

оно принадлежит высказыванию, почему — мы увидим потом. Но преимущество ни в коем случае не означает редукции. На всем протяжении творчества Фуко видимости так и останутся несводимыми к высказываниям, тем более, что они, кажется, испытывают явное пристрастие к активности высказываний. У “Рождения клиники” был подзаголовок — “Археология взгляда”. Недостаточно сказать, что Фуко отверг этот подзаголовок подобно тому, как он всегда исправлял свои предшествующие книги. Мы должны спросить, почему он это сделал. Между тем, главной причиной его отказа от этого подзаголовка очевидно было убеждение в примате высказывания. Фуко все больше склоняется к мысли, что в его предыдущих книгах преимущество способов высказывания над способами видения или восприятия выражено недостаточно. Это его отрицательная реакция на феноменологию. Но для него предпочтительность высказываний вовсе не противоречит исторической нередуцируемости видимого. Высказыванию принадлежит первенство постольку, поскольку у видимого есть свои собственные законы, своя автономия, которая стимулирует его взаимоотношения с господствующим элементом, с самодостаточностью высказываемого. Именно потому, что высказываемому принадлежит первенство, видимое противопоставляет ему свою собственную форму, которая поддается определению, но не редукции. Места видимости у Фуко не обладают ни тем же ритмом, ни той же историей, ни той же формой, что и поля высказываний, и примат высказывания имеет ценность только здесь и постольку, поскольку оно реализуется в чем-то нередуцируемом. Забвение теории видимостей искажает историческую концепцию Фуко, искажает чем-то его мысль, и его концепцию мысли. Ее превращают в некий вариант современной аналитической философии, с которой у Фуко не так уж много общего (за исключением, может быть, философии Витгенштейна, если брать у Витгенштейна проблематику специфических отношений между видимым и высказываемым). Фуко завораживало все, что он видел, слышал или читал, а археология, как он ее понимал, представляет собой своего рода аудиовизуальный архив (начиная с исто-

рии наук). Фуко испытывал радость, формулируя высказывания и воспринимая их от других людей только потому, что им владела и страсть видеть: его характеризует прежде всего голос, но и глаза тоже. Глаза, голос. Фуко никогда не переставал быть видящим, и в то же время его философия была отмечена новым стилем высказываний: у его видения и у его философии была различная поступь, разный ритм.

Стратифицируемое не является косвенным объектом некоего знания, которое должно возникнуть позже, а составляет знание непосредственным образом: это урок вещей и урок грамматики. Вот почему стратами занимается именно археология: она не обязательно отсылает к прошлому. Это археология настоящего; в настоящем или в прошлом видимое подобно высказываемому: оба они представляют собой объект исследования, но не феноменологии, а эпистемологии. В “Истории безумия” Фуко критикует практику обращения к первобытному опыту по примеру феноменологов, или к вечным ценностям воображаемого, как это делал Башляр. В действительности, знанию ничего не предшествует, так как знание, из которого Фуко делает совершенно новое понятие, определяется присущими каждой страте и каждой исторической формации комбинациями зримого и высказываемого. Знание — это схема практического взаимодействия, “устройство”, состоящее из высказываний и видимостей. Следовательно, под знанием нет ничего (хотя, как мы увидим, есть кое-что вне знания). Это значит, что знание существует лишь в зависимости от весьма разнообразных “порогов”, которые маркируют соответствующее количество тонких слоев, разрывов и ориентаций в каждой рассматриваемой страте. В этом смысле недостаточно говорить о “пороге эпистемологизации”: последний уже ориентирован в направлении, ведущем к науке и пересекающем также собственный порог “научности”, и, возможно, “порог формализации”. Но и другие пороги, ориентированные иначе, также присутствуют в страте в достаточном количестве: пороги этизации, эстетизации, политизации и т.д.³ Знание не является наукой и неотделимо от тех или иных порогов,

³ АЗ, 236—255/180—194.

с которых оно начинается, даже если оно представляет собой перцептивный опыт или ценности воображаемого, идеи эпохи или данные общественного мнения. Знание представляет собой единство страты, распределяющейся по различным порогам; сама же страта может существовать только как нагромождение этих порогов с различной ориентацией, и наука является лишь одной из таких ориентаций. Существуют лишь различные виды практик или позитивностей, составляющие знание: дискурсивные практики высказываний, недискурсивные практики видимостей. Но эти практики всегда существуют под археологическими порогами, мобильное распределение которых создает исторические различия между стратами. Таков позитивизм или прагматизм Фуко; и у него никогда не было проблем, касающихся отношений между наукой и литературой, или между воображаемым и научным, или же между познанным и пережитым, потому что концепция знания пронизывала и мобилизовала все пороги, делая из них переменные страты как исторической формации.

Разумеется, слова и вещи — чересчур смутные термины для обозначения двух полюсов знания, и Фуко как-то сказал, что название “Слова и вещи” следует воспринимать иронически. Задача археологии состоит прежде всего в том, чтобы обнаружить подлинную форму выражения, которую нельзя спутать ни с одним лингвистическим термином, как бы он ни назывался: означающее, слово, фраза, пропозиция, речевой акт. Больше всего возражений вызывает у Фуко Означающее: “...дискурс самоуничтожается в своей реальности, подчиняясь порядку означающего”⁴. Мы видели, что Фуко открыл форму выражения, выдвинув весьма оригинальную концепцию “высказывания” как функции, пересекающей различные единицы и вычерчивающей диагональ, более похожую на музыку, чем на означающую систему. Следовательно, слова, фразы и пропозиции нужно рассеять, дабы извлечь из них высказывания, как это делал Реймон Руссель, изобретая свой “метод”. Но аналогичная операция необходима и для формы содержания; последнее является не в большей степени означаемым, чем выражение означа-

⁴ ПД, 51.

ющего. Оно уже не является и состоянием вещей, референтом. Видимости не смешиваются с визуальными или же, более обобщенно, с осязаемыми элементами, с качествами, вещами, объектами, сочетаниями объектов. Фуко создает тут функцию не менее оригинальную, чем функция высказывания. Итак, вещи следует рассечь, разбить. Что же до видимостей, то они не являются ни формами объектов, ни даже формами, которые обнаруживаются при соприкосновении света с вещью; это формы лучезарности, создаваемые самим светом и способствующие сохранению вещей или объектов лишь в виде молний, отблесков, мерцаний⁵. Таков второй аспект, обнаруженный Фуко у Реймона Русселя, который он, возможно, пытался найти также и у Мане. И если концепция высказывания показалась нам навеянной музыкой и более близкой к Веберну, нежели к лингвистике, то концепция видимого кажется нам красочной и близкой к Делоне, для которого свет был своего рода формой, создававшей собственные формы и движения. Делоне говорил: Сезанн разбил эту вазу для фруктов, и не нужно пытаться ее склеить, как это делают кубисты. *Вскрыть* слова, фразы и пропозиции, *вскрыть* качества, вещи и предметы — эта задача археологии двояка, как и попытка Русселя. Из слов и языка следует извлекать высказывания, соответствующие каждой страте и ее порогам, а из вещей и зримого нужно извлекать видимости, т.е. “очевидности”, свойственные каждой страте.

Для чего необходимо такое извлечение? Начнем с высказываний: они никогда не бывают скрытыми, но и никогда не прочитываются или даже не выражаются. Можно подумать, что высказывания часто бывают скрытыми, потому что представляют собой объекты маскировки, подавления или даже вытеснения из сознания. Однако, помимо того, что такой взгляд подразумевает неправильную концепцию Власти, он соответствует действительности лишь в том случае, если мы ограничиваемся словами, фразами и пропозициями. Именно это показывает Фуко в связи с сексуальностью, начиная с самых первых страниц “Воли к знанию”: в викторианскую эпоху весь лексикон, относящийся

⁵ РР, 140—141.

к сексуальности, был до такой степени запрещен, фразы метафоризованы, а язык настолько очищен, что можно было подумать, будто сексуальность вплоть до пришествия Фрейда была глубинной тайной, проникать в которую, позволяли себе лишь самые отважные и окаянные нарушители морали... На самом же деле ничего подобного не происходило, и никогда еще ни одна страта или историческая формация не способствовала в такой мере распространению сексуальных высказываний, определяя их условия, режимы, места, случаи их произнесения, возможных собеседников (к которым затем психоанализ добавит собеседников со своей стороны). Если не проследить за этим распространением видов сексуального дискурса, то нам никогда не понять роль Церкви после Тридентского Собора. "Под прикрытием заботы о языке, который старались очистить так, чтобы секс в нем больше не назывался прямо, секс был как бы взят под опеку дискурсом, который, третируя его, одновременно претендовал на то, чтобы лишить его какой бы то ни было неясности, равно как и какого бы то ни было подобия воли... Что же касается современных обществ, то они дали себе обет не то чтобы держать секс в тени, а, напротив, говорить о нем, но постоянно делая из него тайну". Короче говоря, высказывание остается скрытым, но только в тех случаях, когда не удастся подняться до условий, допускающих его извлечение; а когда эти условия созданы, то оно, напротив, и зримо, и все говорит без утайки. Так же обстоят дела и в политике: политика ничего не скрывает, ни в дипломатии, ни в правовой системе, ни в системе нормативных актов, ни в управлении государством, хотя каждый режим высказываний предполагает свой определенный способ взаимного перекрещивания слов, фраз и пропозиций. Нужно только уметь читать, как бы это ни было трудно. Тайна существует только для того, чтобы быть раскрытой, чтобы выдать самое себя. Каждая эпоха говорит и о самом циничном в своей политике, и о самом непристойном в своей сексуальности, что весьма снижает цену "нескромности". Любая эпоха говорит все, что может сказать, в зависимости от своих условий построения высказываний. Начиная с "Истории безумия", Фуко анализировал

дискурс “филантропа”, который освобождал сумасшедших от их цепей, не скрывая другого, более действенного, порабощения, на которое он их обрекал⁶. Все всегда, в любую эпоху проговаривается — это, возможно, наиболее важный исторический принцип Фуко: за занавесом нет ничего интересного. Вот почему важно всякий раз описывать занавес или цоколь, коль скоро ни за занавесом, ни под цоколем ничего нет. Возразить, что существуют скрытые высказывания, значит всего лишь констатировать, что в зависимости от политического режима или условий существования бывают разные говорящие и разные адресаты сообщений. Но говорящие и адресаты сообщений — это переменные для высказывания, находящегося в серии других высказываний, которые строго зависят от условий, определяющих само высказывание как функцию. Короче говоря, высказывания становятся читабельными или выразимыми только в зависимости от условий, делающих их такими и конституирующих их уникальную запись на “цоколе высказываний” (мы уже видели, что двух записей, одной явной, а другой — скрытой, не существует). Единственная запись, форма выражения, образуется из высказывания и его условия: цоколя или занавеса. Фуко любил театр высказываний, скульптуру высказываемого, “монументы”, а не “документы”.

Каково наиболее общее условие построения высказываний или дискурсивных формаций? Ответ Фуко тем более важен, что он заранее исключает субъект акта высказывания. Субъект представляет собой переменную, или, точнее, ансамбль переменных высказывания. Это функция, производная от изначальной или от самого высказывания. “Археология знания” осуществляет анализ этой функции-субъекта: субъект представляет собой место или позицию,

⁶ Об “освобождении” сумасшедших Тьюком и Пинелем, см. ИБ, “Рождение сумасшедшего дома”: речь идет о подчинении душевнобольных непрерывному “взгляду” и “суждению” (видимость и высказывание). То же самое с “гуманизацией” наказаний в XVIII веке: НН, “Обобщенное наказание”. То же самое — о тенденции к отмене смертной казни, ВЗ, 181: речь идет о приспособлении наказания к Власти, которая теперь ставит своей целью, как правило, больше не выносить решений о смерти, но “руководить жизнью, контролировать ее”.

которые сильно меняются в зависимости от типа, от порога высказывания, да и сам “автор” в некоторых случаях является не более, чем одной из таких возможных позиций. Для одного и того же высказывания возможно даже наличие нескольких позиций. Таким образом на первом плане оказывается некое “ГОВОРЯТ”, безымянное бормотание, в котором размещаются позиции для возможных субъектов: “громкое, непрерывное и беспорядочное жужжание дискурса”. Фуко несколько раз упоминает это громкое бормотание, в котором он сам желал бы разместиться⁷. Он противопоставляет трем способам разыскания истоков языка: либо через лиц, даже если это языковые личности или шифтеры (языковой персонологии, модели “я говорю”, Фуко непрестанно противопоставляет предсуществование третьего лица, как “не-лица”); либо через означающее, как внутреннюю организацию, или первичное направление, к которому отсылает язык (лингвистическому структурализму, модели “это говорит” Фуко противопоставляет предсуществование некоего свода или совокупности определенных высказываний); либо через изначальный опыт, через первичную причастность к миру, который якобы, предоставил нам возможность о нем говорить и образовал из зримого основу для высказываемого (феноменологии, модели “Мир говорит”, как если бы видимые вещи уже бормотали некий смысл, который нашему языку остается лишь подхватить, или как если бы язык опирался на выразительное молчание, Фуко противопоставляет природное различие между «видеть» и «говорить»)⁸.

Язык либо дан весь целиком, либо его нет вообще. Каковы же в таком случае условия формулирования высказывания? Это то «нечто языковое», та “сущность языка” или существо-язык, измерение, дающее язык и не совпадающее при этом ни с одним из направлений, к которым он отсылает. “Оставить в стороне его власть обозначать, называть, показывать, выявлять, его способность быть местом смысла или истины, и задержаться на моменте, — либо

⁷ О субъекте высказывания, см.: АЗ, 121—126/91—96. А о великом бормотании, ср. начало ПД, начало и конец ЧТА.

⁸ набросок этих трех тем, см.: ПД, 48—51.

застывшем, либо включенном в игру означающего и означаемого, — который и определяет его единичное и ограниченное существование”⁹. Но что же придает конкретный смысл этому утверждению Фуко, что мешает ему впасть в общие рассуждения, феноменологические или лингвистические, что позволяет ему говорить о единичном и ограниченном существовании высказывания? Фуко близок к “дистрибуционализму” и, следуя методике “Археологии”, всегда исходит из определенного и небеспредельного — каких бы разнообразных явлений он в себя ни включал — свода речей и текстов, фраз и пропозиций, сформулированных в ту или иную эпоху, в которых он пытается выделить высказывательные “регулярности”. А раз так, то условия построения высказываний являются историческими, историческими являются и их “априорности”: громкое бормотание, иначе называемое “существом-языком”, или “чем-то языковым”, меняется с каждой исторической формацией и, несмотря на свой безымянный характер, сохраняет все же свое своеобразие, остается “загадочной и шаткой сущностью”, которую невозможно отделить от того или иного исторического режима. У каждой эпохи свой способ сборки языка, зависящий от корпуса ее высказываний. Например, если сущность языка в классическую эпоху предстает вся целиком в своем отображении в виде координатной сетки, то в XIX веке она, напротив, выходит за пределы репрезентативных функций, рискуя потерять единство отбора ради того, чтобы обрести его в другом месте и в ином режиме, в литературе как в новой функции (“человек был фигурой в промежутке между двумя модусами бытия языка”...) ¹⁰. Следовательно, историческая сущность языка никогда не собирает его в интериорности учреждающего, изначального или же попросту посредничающего сознания; напротив, она образует форму экстериорности, в которой рассредоточиваются, чтобы появиться, и рассеиваются вы-

⁹ АЗ, 145—148/112: это основной текст, посвященный теме “есть нечто языковое”, и сюда можно добавить всю заключительную часть СВ (о “сущности языка”, 316—318, 395—397; а также 57—59).

¹⁰ СВ, 313—318 (о функции новой литературы как способа сборки языка, СВ, 59, 313, ЖПЛ, 28—29).

сказывания из анализируемого свода. Это дистрибутивное единство. “А ргіогі позитивностей — это не только система темпорального рассеивания, но и преобразующая совокупность”¹¹.

Все, что мы только что сказали о высказывании и об условиях его формулирования, необходимо отнести и к видимости. Ибо какими бы несокрытыми ни были видимости, они, тем не менее, не являются ни непосредственно зримыми, ни видимыми. Они бывают даже невидимыми, если ограничиваться объектами, вещами и осязаемыми качествами и не подниматься на уровень, который позволяет их увидеть. Если же вещи закрываются, то видимости расплываются и мутнеют до такой степени, что “очевидности” становятся неуловимыми для другой эпохи: когда классическая эпоха объединила в одном и том же месте душевнобольных, бродяг и безработных, “то, что для нас является всего лишь недифференцированной чувствительностью, несомненно, было для человека классической эпохи четко артикулированным восприятием”. Тем не менее, условия, при которых передается видимость, не представляют собой субъективного способа видения: видящий субъект сам является местом в видимости, функцией, производной от видимости (таково, например, место короля в представлении классической эпохи или место какого-нибудь наблюдателя в режиме тюрем). Нужно ли в таком случае упоминать установки воображения, которые ориентируют восприятие, или игру ощущений, которые образуют “перцептивные темы”? Именно динамический образ или динамика чувственного восприятия конституируют условия порождения видимого, и Фуко в “Истории безумия” порой выражается в духе Башляра¹². Однако он достаточно быстро находит иное решение. Если архитектурные ансамбли, к примеру, — это видимости, места видимости, то причина этого заключается не только в том, что они представляют собой сооружения из камня, то есть являются схемами взаимодействия вещей и сочетаниями качеств,

¹¹ АЗ, 168/128.

¹² См., в частности, ИБ, главу “Образы безумия”, где упоминаются “полуперцептивные и полувоображаемые законы качественного мира”.

но прежде всего в том, что они предстают как формы освещения, распределяющие свет и тень, непрозрачное и прозрачное, зримое и незримое и т.д. На ставших знаменитыми страницах “Слов и вещей” картина Веласкеса “Менины” описывается как режим света, открывающий пространство классической репрезентации и распределяющий в нем то, что видно, и тех, кто видит, взаимосвязи и отражения, вплоть до места самого короля, которое, может быть, лишь индуцировано как нечто внешнее по отношению к картине (разве не иной режим освещения описывала уничтоженная рукопись о Мане, с совершенно иным использованием зеркала и другой дистрибуцией отражений?). Со своей стороны, книга “Надзирать и наказывать” описывает архитектуру тюрьмы, Паноптику, как световую форму, которая затопляет светом расположенные на периферии камеры и оставляет непрозрачной центральную башню, таким образом, распределяя, с одной стороны, узников, которые оказываются видимыми, не видя при этом сами, и с другой — наблюдателя, который видит все, сам оставаясь невидимым. Подобно тому, как высказывания неотделимы от политических режимов, видимости неотделимы от машин. Дело вовсе не в том, что любая машина является оптической, а в том, что именно подобного рода сочетание органов и функций и дает возможность что-то увидеть, высветить, выявить (“машина-тюрьма” или, скажем, машины Русселя). Уже книга “Реймон Руссель” давала наиболее общую формулу: первичный свет, открывающий вещи и выявляющий видимости как вспышки и мерцания, как “вторичный свет”¹³. А у “Рождения клиники” вполне мог бы быть подзаголовок “археология взгляда” в зависимости от того, насколько каждая медицинская историческая формация сама модулировала первичный свет и образовывала пространство видимости болезни, стимулируя мерцание симптомов, то развертывая двухмерную картину болезни в клинической области, то вновь свертывая симптомы в патологической анатомии и порождая третье измерение, которое придает взгляду глубину, а недугу — объем (болезнь как “аутопсия” живого).

¹³ РР, 140.

Следовательно, существует “нечто световое”, сущность света, или же существо-свет, совершенно аналогичное существу-языку. Каждое из них абсолютно и все же исторично, поскольку неотделимо от способа, каким каждое встречается с той или иной формацией, с тем или иным сводом. Первое делает видимости зримыми или воспринимаемыми подобно тому, как второе делает высказывания высказываемыми, выразимыми или читабельными. Получается, что видимости — это не акты видящего субъекта и не данные, полученные с помощью органов зрения (Фуко отказывается от подзаголовка “археология взгляда”). И так же, как зримое не сводится к какой-либо осязаемой вещи или к какому-либо осязаемому качеству, существо-свет не может быть сведено к физической среде: Фуко стоит ближе к Гете, чем к Ньютону. Существо-свет есть некое строго неделимое условие, некое *a priori*, которое только и способно соотносить видимости со зрением и одновременно с другими органами чувств, каждый раз следуя сочетаниям, которые сами по себе являются зримыми. Например, осязательное есть способ, с помощью которого зримое скрывает другое зримое. Уже в “Рождении клиники”, был открыт “абсолютный взгляд”, то, что можно назвать “виртуальной видимостью” или “видимостью за пределами взгляда”, то что преобладает над всеми остальными формами перцептивного опыта и не апеллирует к зрению, не апеллируя одновременно к другим сенсорным полям, таким как слух и осязание¹⁴. Видимости не определяются при помощи зрения, а представляют собой комплексы действий и пристрастий, действий и противодействий, мультисенсорные комплексы, выходящие на свет. Как отметил Магритт в одном из писем к Фуко, то, что видит он и может быть описано как зримое, является мыслью. Надо ли проводить параллели между этим первичным светом у Фуко и *Lichtung* у Хайдеггера, Мерло-Понти, свободным или открытым, который лишь вторично адресуется зрению? Да, если не обращать внимание на

¹⁴ РК, 167 (и, “когда Корвизар слышит, как плохо работает сердце, а Лаэннек — как дрожит пронзительный голос, они видят гипертрофию, видят некое излияние, причем тем взглядом, который неотступно преследует их слух и подстегивает его за пределами слуха”).

на два отличия: по Фуко, бытие-свет неотделимо от того или иного модуса, и, будучи априорным, не менее в этом исторично и эпистемологично, нежели феноменологично; с другой стороны, оно не открыто слову, так же как и зрению, потому что слово в качестве высказывания обретает совершенно иное условие открытости в бытии-языке и его исторических модусах. Из этого можно заключить, что каждая историческая формация видит и заставляет видеть лишь то, что она способна увидеть, будучи функцией собственных условий высказывания. Поэтому никогда не бывает и тайны, хотя ничто не является ни сразу видимым, ни непосредственно прочитываемым. Ни с той, ни с другой стороны условия не объединяются в интериорности какого-либо сознания или субъекта, равно как они не формируют Тожественного: это две формы экстериорности, в которых здесь распыляются и рассеиваются высказывания, а там — видимости. Язык “содержит” слова, фразы и пропозиции, но не содержит высказываний, рассеивающихся в зависимости от не поддающихся редукции расстояний. Высказывания рассредоточиваются в зависимости от собственных порога и семейства. Так же обстоит дело и со светом, который содержит объекты, а не видимости. Таким образом, было бы заблуждением полагать, будто Фуко интересуется средами заточения ради них самих: больница, тюрьма — это, прежде всего, места видимости, рассеянные в пределах формы экстериорности и отсылающие к внешней функции, которая их обособливает и классифицирует...

Это не история ментальностей и видов поведения. Говорить и видеть, или, точнее, высказывания и видимости являются чистыми Элементами, априорными условиями, при которых в определенный момент формулируются идеи и проявляются виды поведения. Этот поиск условий и образует у Фуко нечто вроде характерного для него неокантианства. Однако тут есть и существенные отличия от Канта: условия Фуко представляют собой условия реального, а не любого возможного опыта (высказывания, к примеру, предполагают существование их определенного свода); они находятся на стороне “объекта”, на стороне исторической

формации, а не на стороне некоего универсального субъекта (сама их априорность является историчной); и высказывания, и видимости являются формами внешнего¹⁵. Ну а наличие неокантианства объясняется здесь тем, что видимости вместе с их условиями образуют Восприимчивость, а высказывания с их условиями — Спонтанность. Спонтанность языка и восприимчивость света. Так что было бы недостаточно отождествлять восприимчивость с пассивностью, а спонтанность с активностью. Восприимчивость не означает пассивности, поскольку в том, что свет показывает, присутствует столько же действия, сколько и пристрастности. Спонтанность же означает не активность, а скорее активность “Другого”, которая осуществляется по отношению к воспринимающей форме. Так было уже у Канта, у которого спонтанность тезиса “я мыслю” осуществлялась по отношению к воспринимающим существам, которые, естественно, представляли ее себе как нечто другое¹⁶. У Фуко спонтанность способности суждения, “*Cogito*”, уступает место спонтанности языка (тому самому “имеется нечто языковое”), тогда как восприимчивость интуиции уступает место восприимчивости света (новая форма пространства-времени). Исходя из этого, нетрудно объяснить первенство высказывания по отношению к видимости: “Археология знания” может с ответственностью заявить об *определяющей* роли высказываний как дискурсивных формаций. Однако видимости, тем не менее, остаются нередуцируемыми, так как они отсылают к той форме *детерминированного*, которую абсолютно невозможно свести к форме детерминации. В этом глубокое отличие Канта от Декарта: форма детерминации (я мыслю) опирается не на недетерминированное (я существую), а на форму чисто детерминированного (пространство-время). Проблема здесь состоит в коадаптации двух форм или двух видов условий, с различных по своей природе. Как раз эту проблему в модифицированном виде мы и находим у Фуко: взаимоотношения между двумя “есть нечто”, между светом и языком, между

¹⁵ СВ, 257; АЗ, 167/129 (а о “форме внешнего”, 158—161, 121—129).

¹⁶ В первом издании “Критики чистого разума” это называлось “парадоксом глубинного смысла”: 136 (*Kant I. Critique de la Raison pure*).

детерминируемыми видимостями и детерминирующими высказываниями.

С самого начала один из основных тезисов Фуко состоит в разноприродности формы содержания и формы выражения, разноприродности зримого и высказываемого (хотя они и входят одна в другую и не перестают проникать друг в друга, чтобы образовать каждую страту и каждый вид знания). Возможно, именно в этом заключается тот первый аспект, где Фуко сходится с Бланшо: “говорить не значит видеть”. Однако Бланшо настаивает на примате говорения как на детерминанте, в то время как Фуко, вопреки, казалось бы, столь сходным внешним чертам, настаивает на особом характере видения и нередуцируемости видимого как детерминируемого¹⁷. Между ними нет ни изоморфизма, ни согласия, хотя они предполагают друг друга и оба настаивают на примате высказывания. Даже в “Археологии знания”, которая тоже отдает первенство высказыванию, говорится, что между высказываемым и зримым не существует ни каузальной, ни символической связи; и если у высказывания есть объект, то это непременно объект дискурсивный, который не изоморфен видимому объекту. Разумеется, об изоморфизме всегда можно *грезить*: будь это эпистемологическая греза, когда, например, клиника полагает тождественность структуры “между зримым и высказываемым”, симптомом и знаком, показом и речью, или греза эстетическая, когда “каллиграмма” придает одну и ту же форму тексту и рисунку, лингвистическому и пластическому,

¹⁷ Ср. Бланшо, “Бесконечный диалог”, *Blanchot M. L'entretien infini*. Gallimard: “говорить не значит видеть”. Это наиболее явная формулировка Бланшо на тему, сквозную для всего его творчества. И этот текст явно предоставляет особый статус “видению” или же визуальному образу (42; то же: “Литературное пространство”; *L'espace littéraire* 266—277). Но этот статус, по словам самого Бланшо, остается непроясненным, поскольку он подтверждает, что говорить не значит видеть, не выдвигая, в свою очередь, тезиса о том, что видеть не означает говорить. Дело в том, что Бланшо в определенном смысле остается картезианцем: он утверждает взаимоотношения (или “не-взаимоотношения”) между детерминацией и чистым недетерминированным. Фуко же в большей степени кантианец: взаимоотношения или не-взаимоотношения происходят между двумя формами, между детерминацией и детерминируемым.

высказыванию и образу¹⁸. В своем комментарии к Магритту Фуко демонстрирует, как неизбежно возрождается “узкая, бесцветная и нейтральная полоса”, которая отделяет текст от образа, рисунок с изображением трубки от высказывания “это трубка”, вплоть до того, что высказывание превращается в “это *не является* трубкой”, поскольку ни рисунок, ни высказывание, ни “это” — как предполагаемая обобщенная форма — трубкой не является...: “ни на классной доске, ни над ней, рисунок трубки и текст, который должен был бы ее назвать не находят места, где бы они могли встретиться”, это и есть “не-взаимоотношения”¹⁹. Возможно, это юмористический вариант того подхода, который Фуко ввел в своих исторических исследованиях, что и было продемонстрировано в “Истории безумия”: общая больница как форма содержания или место видимости безумия возникла благодаря отнюдь не медицине, а полиции; и медицина как форма выражения, как агент порождения высказываний о “неразумии”, развернула свой дискурсивный режим, свою диагностику и терапию вне предела больницы. Комментируя Фуко, Морис Бланшо подчеркивает: это различие, столкновение между неразумием и безумием. В “Надзирать и наказывать” затронута и углублена смежная тема: тюрьма как видимость преступления не возникает из уголовного права как форма выражения; она появляется на совершенно ином горизонте — “дисциплинарном”, а не юридическом; уголовное право, со своей стороны, порождает высказывания о “преступности” независимо от тюрьмы, как будто оно определенным образом вынуждено было всегда говорить: это *не является* тюрьмой... У двух форм в археологическом смысле нет “*gestaltung*” ни общей формации, ни общего генезиса или генеалогии. И все же они соприкасаются, хотя и благодаря своеобразному обману: можно подумать, что тюрьма заменяет уголовного правонарушителя другим человеком и под прикрытием этой замены производит и воспроизводит преступную деятель-

¹⁸ О “грезде” об изоморфизме, свойственной клинике, РК, 108-117; о калиграмме ЭНТ, 19—25.

¹⁹ ЭНТ, 47, где Фуко подхватывает выражение Бланшо “не-взаимоотношения”.

ность, тогда как право производит и воспроизводит узников²⁰. Между уголовным правом и тюрьмой возникают и расторгаются альянсы, на той или иной страте или пороге образуются и разрушаются пересечения. Как же тогда объяснить то, что и для Фуко, и для Бланшо не-взаимоотношения являются взаимоотношениями, и даже более глубокими взаимоотношениями?

Можно сказать, что существуют “игры истины”, или точнее, процедуры обнаружения истины. Истина неотделима от устанавливающей ее процедуры (“Надзирать и наказывать” сравнивает “инквизиторское дознание” как модель естественных наук в позднем Средневековье и “дисциплинарное обследование”, модель гуманитарных наук в конце XVIII в.). Но в чем же состоит такая процедура? Возможно, ее суть как процесса и метода, в общих чертах, заключается в прагматизме. Процесс есть процесс видения, задающий знанию ряд вопросов: что мы видим в той или иной страте, на том или ином пороге? Мы спрашиваем не только о том, от каких объектов мы отправляемся, за какими свойствами наблюдаем, на каких состояниях вещей останавливаемся (корпус ощущений), но еще и о том, как мы извлекаем видимости из этих объектов, качеств и вещей? Каким образом и при каком свете они мерцают и зеркально отражаются? Как свет фокусируется на страте? И, кроме того, каковы позиции субъекта как переменные этих видимостей? Кто их занимает и видит? Но существуют еще и языковые методы, столь же различные в двух разных стратах, как и у двух “необычных” авторов (например, “метод” Русселя, и “метод” Бриссе)²¹. Что представляет собой корпус слов, фраз и пропозиций? Как из них извлекаются пересекающие их “высказывания”? По какой

²⁰ Некоторые тексты из НН говорят о преступной деятельности как о чем-то родственном тюрьме. В действительности, однако, существует два вида преступности: “преступность-незаконность”, которая отсылает к высказываниям, и “преступность-объект”, отсылающая к тюрьме. Важно то, что НН заявляет о гетерогенности между эволюцией уголовного права и возникновением тюрьмы в XVIII в. столь же категорично, как ИБ заявляла о радикальной гетерогенности между возникновением психиатрической лечебницы и положением медицины в XVII в.

²¹ Ср. ЛГ, XVI: сравнение трех “методов”: Русселя, Бриссе и Вольфсона.

сборочной модели языка эти высказывания рассеиваются по семействам и порогам? И кто говорит, то есть, каковы субъекты высказывания как переменные, и кто занимает их место? Короче говоря, существуют методы высказывания и машинные процессы. Именно здесь возникает множество вопросов, которые каждый раз заново конституируют проблему истинности. Книга “Использование удовольствий” подведет итог всех предшествующих книг, когда продемонстрирует, что истина дается знанию только через “проблематизации”, и что эти проблематизации складываются только лишь из “практик”, практик видения и практик говорения²². Эти практики (процесс и метод) образуют процедуры обнаружения истины, “историю истины”. Однако при этом необходимо, чтобы две половины истины вступили в проблематичные отношения в тот самый момент, когда проблема истины исключает их соответствие или сходство. Возьмем самый общий пример из психиатрии: это тот же самый человек, которого можно видеть в сумасшедшем доме и о котором можно сказать, что он душевнобольной? К примеру, легко “увидеть” параноическое безумие президента Шребера и поместить его в сумасшедший дом, но его придется извлечь оттуда, поскольку в дальнейшем будет гораздо труднее “высказаться” о его безумии. И напротив, высказаться о безумии какого-нибудь мономаньяка легко, но очень трудно вовремя увидеть это безумие, чтобы своевременно больного поместить в сумасшедший дом²³. Многие люди, которые не должны находиться в психиатрических больницах, все же там находятся, в то время как многих из тех, кто должен в них находиться, там нет. Психиатрия XIX века основана на этой констатации, которая “проблематизирует” безумие, но оказывается не в состоянии сформировать на базе этой констатации однозначную и определенную концепцию.

Истинное не определяется ни через сходство или общую форму, ни через соответствие между двумя формами. Между видением и говорением, между зримым и высказы-

²² ИУ, IV, 17.

²³ Ср. ЯПР: случай криминальной мономании, который ставит самой насущной для психиатрии XIX века проблему.

ваемым существует строгая дизъюнкция: *“то, что видят, никогда не размещается в том, что говорят”*, и наоборот. Конъюнкция невозможна по двум причинам: у высказывания есть свой коррелятивный объект, но оно не является пропозицией, которая обозначила бы какое-либо положение вещей или какой-нибудь видимый объект, как того хотелось бы логике; так же и видимое не является каким-то немым смыслом, означаемым особой силы, которое может актуализоваться в языке, как того хотелось бы феноменологии. Архиву, аудиовизуальному свойственна строгая дизъюнкция. Поэтому и неудивительно, что наиболее завершенные примеры альтернативы *“говорить-видеть”* встречаются в кино. У Штраубов, у Сиберберга, у Маргерит Дюрас голоса *“падают”* с одной стороны, подобно *“истории”*, которая перестает развиваться, не имеет больше места, а зрительный ряд — с другой, подобно пустому месту, у которого больше нет истории²⁴. В фильме Маргерит Дюрас *“Индийская песня”* голоса воскрешают в памяти старинный бал, который так и не будет показан, в то время как на экране — другой бал, без слов, без ретроспекции, которая позволила бы как-то осуществить визуальный стык, и без закадрового голоса, который позволил бы осуществить звуковой стык; фильм *“Женщина Ганга”* выглядит как сосуществование в одном фильме двух фильмов, *“фильма образов и фильма голосов”*, когда пустота становится единственным *“фактором связи”*, одновременно и стыком, и материалом для заполнения промежутков. И между этими

²⁴ См. комментарии Ишагпура к фильму по сценарию Маргерит Дюрас *“От одного образа к другому”* и также анализ ее романа *“Разрушить, — говорит она”*, осуществленный Бланшо в книге *“Дружба”*, L'amitié, P., 1971. Фуко очень заинтересовался фильмом, снятым Рене Альё по ЯПР. Дело здесь в том, что существовала проблема взаимоотношений между поступками Пьера Ривьера и написанным им текстом (см. замечания Фуко: *“Текст деяния не описывает, но между текстом и деянием существует целая сеть взаимоотношений”*, 266); следовательно, фильм должен был столкнуться с этой проблемой и на свой лад разрешить ее. И Альё действительно не ограничивается не согласованным со зрительным рядом голосом, а, чтобы дать ощущение сдвига или даже разрывов между зримым и высказываемым, между визуальными образами и аудиообразами, применяет многочисленные средства (начать с того, что на первом монтажном кадре мы видим лишь дерево в бесплодной сельской местности, но при этом слышим шумы и реплики суда присяжных).

двумя фильмами постоянно обнаруживается иррациональный разрыв. В то же время это не случайные голоса, наложенные на случайные образы. Разумеется, там нет сцепления, идущего от зримого к высказываемому, или же от высказываемого к зримому, но есть непрерывная вторичная сцепленность — через иррациональный разрыв или же поверх промежутка. Именно в этом смысле зримое и высказываемое образуют страту, хотя и постоянно пересекаемую, образуемую «центральной археологической трещиной» (Штрауб). Пока речь идет только о вещах и словах, можно считать, что говорят о том, что видят, а видят то, о чем говорят, и что то и другое взаимосвязано: но происходит это потому, что мы ограничиваемся здесь лишь эмпирическим наблюдением. Однако стоит только вскрыть слова и вещи, обнаружить высказывания и видимости, как речь и зрение возвысятся до более высокого уровня, до *arçioç*, таким образом, что каждый из них достигнет собственного предела, отделяющего их друг от друга: зримое, которое может быть только увидено, и высказываемое, которое может быть только произнесено. И все же подлинный предел, который отделяет их друг от друга, является одновременно и их общим пределом, который соотносит их друг с другом и имеет две асимметричные грани: слепую речь и немое видение. Фуко необычайно близок к современному кино.

И все-таки, каким образом «не-взаимопонимание» оказывается взаимоотношением? Или иначе, существует ли противоречие между следующими двумя утверждениями Фуко: с одной стороны, «сколько бы ни называли видимое, оно не умещается в названном; и сколько бы ни показывали посредством образов, метафор, сравнений то, что высказывается, место, где расцветают эти фигуры, являются не пространством, открытым для глаз, а тем пространством, которое определяют синтаксические последовательности»; с другой стороны, «следует признать существование между образом и текстом целого ряда взаимопересечений, или, точнее, взаимных атак; по целям в стане противника мечутся стрелы, производятся подкопы и разрушения, сыплются удары пиками и уносят раненых, идет бит-

ва...", "падения образов в словесную среду, словесные молнии, оставляющие след на рисунках...", "следы дискурса в форме вещей"²⁵, и наоборот? Эти два типа утверждений ни в чем не противоречат друг другу. Первый из них говорит о том, что не существует ни изоморфизма или гомологии, ни общей формы видения и говорения, зримого и высказываемого. А второй тип утверждений гласит, что эти формы проникают друг в друга, как это происходит во время битвы. Ссылка на битву как раз и означает, что никакого изоморфизма нет. Дело в том, что две гетерогенные формы предполагают как условие, так и то, что им обусловлено, свет и видимость, язык и высказывания; однако это условие не "содержит" в себе обусловленного, оно дает его в пространстве рассеивания, а себя являет как форму экстериорности. Следовательно, высказывания проскальзывают между зримым и условиями его возникновения, как между двумя трубками Магритта. А видимость протискивается между высказыванием и условием, как у Русселя, который открывает слова, чтобы тут же возникло зримое (и который также открывает вещи, чтобы тут же возникло высказывание). Ранее мы пытались продемонстрировать, как форма видимость "тюрьма" порождает вторичные высказывания, которые воспроизводили преступность, несмотря на то, что высказывания уголовного права порождают вторичные видимость, которые усиливают тюрьму. Более того, высказывания и видимость непосредственно, подобно борцам, участвуют в рукопашных схватках, одолевая либо беря друг друга в плен, всякий раз устанавливая при этом "истину". Отсюда формула Фуко: "говорить и давать видеть в одном и том же движении... чудесное взаимопересечение"²⁶. Говорить и видеть *одновременно*, хотя это и не одно и то же, и хотя мы не говорим о том, что видим, и не видим того, о чем говорим... Но и то и другое вместе образуют страту, от одной страты к другой они одновременно видоизменяются (хотя и не по одним и тем же правилам).

²⁵ СВ 25; ЭНТ, 30, 48, 50. ЭНТ представляет два вида текстов и максимально их обыгрывает.

²⁶ РР, 147.

Однако этого первого ответа (борьба, рукопашная схватка, битва, взаимопроникновение) пока недостаточно. Он не учитывает примата высказывания. Высказыванию принадлежит первенство в силу спонтанности производящих его условий (язык), которые придают ему определяющую форму. А вот зримое, в силу воспринимаемости вызывающих его условий (свет), обладает лишь формой детерминированного. Следовательно, можно считать, что детерминация всегда исходит от высказывания, хотя эти две формы различны по своей природе. Поэтому Фуко и выделяет в творчестве Русселя новый аспект: речь идет не только о том, чтобы открывать вещи, чтобы стимулировать высказывания, и не только о том, чтобы открывать слова ради поддержания видимостей, но еще и о том, чтобы, благодаря спонтанному характеру высказываний, способствовать их размножению так, чтобы они детерминировали зримое до бесконечности²⁷. Короче говоря, вот второй ответ на вопрос об отношении между двумя формами: только высказывания являются детерминирующими и позволяют видеть, хотя и не то, о чем говорят. Поэтому не приходится удивляться тому, что в “Археологии знания” зримое оказывается обозначенным лишь негативно, как недискурсивное, но зато тем больше дискурсивных отношений оказывается у дискурсивного с недискурсивным. И мы должны учитывать все эти аспекты взаимоотношений между зримым и высказываемым: гетерогенность двух форм, их разную природу или анизоморфию; взаимодопущение двух форм, их схватки и пленения; четко детерминированное преобладание одной формы над другой.

Тем не менее и этого второго ответа тоже недостаточно. Если детерминация бесконечна, то почему детерминированное, которое имеет иную форму, нежели форма детерми-

²⁷ Вот почему Фуко в конечном счете различает три вида произведений у Русселя: не только “машинные” произведения, в которых видимости улавливают или захватывают высказывания (например, “Вид”), не только “методические” произведения, где высказывания стимулируют видимости (например, “Африканские впечатления”), но еще и “бесконечное” произведение (“Новые африканские впечатления”), где высказывание размножается в скобках скобок и стремится детерминировать зримое до бесконечности. Ср. РР, гл. 7.

рации, не может быть неисчерпаемым? Почему бы зримому не скрыться из виду, оставаясь вечно детерминируемым, если высказывания определяют его до бесконечности? Как воспрепятствовать бегству объекта? Не в этом ли пункте творчество Русселя в конечном счете садится на мель (не в том смысле, что оно оказывается несостоятельным, а в обыкновенном морском смысле)? “Здесь язык размещается по кругу внутри самого себя, пряча то, что он позволяет увидеть, скрывая от взгляда то, что он намеревался ему предложить, утекая с головокружительной скоростью в сторону незримой впадины, где вещи недоступны и где он исчезает в бешеной гонке за ними”²⁸. Аналогичное приключение когда-то пережил Кант: когда спонтанность рассудочного понимания распространяла свою детерминацию на восприимчивость интуиции, последняя продолжала противопоставлять этой форме детерминации свою форму детерминируемого. В результате Канту пришлось обратиться к третьей инстанции, находящейся по ту сторону этих двух форм, — к инстанции сугубо “таинственной” и способной объяснить их коадаптацию в виде Истины. Это была *схема* воображения. Слово “загадочный” у Фуко соответствует тайне Канта, хотя фигурирует оно совершенно в ином окружении и по-иному распределяется. Но у Фуко также возникает необходимость, чтобы некая третья инстанция коадаптировала детерминируемое и детерминацию, зримое и высказываемое, восприимчивость света и спонтанность языка, действуя либо по ту, либо по эту сторону обеих форм. Именно в этом смысле Фуко говорил, что схватка предполагает определенную *дистанцию*, через которую противники “обмениваются угрозами и словами”, и что место борьбы предполагает некое “не-место”, свидетельствующее о том, что противники не принадлежат к одному и тому же пространству или же не зависят от одной и той же формы²⁹. Аналогичным образом анализируя творчество Пауля Клее, Фуко пишет, что зримые образы сочетаются с письменными знаками, *но в каком-то ином измерении, нежели измерение присущих им форм*³⁰. Так что теперь мы должны

²⁸ РР, 172.

²⁹ НГИ, 156.

³⁰ ЭНТ, 40-42.

перескочить в иное измерение, нежели измерение, где находятся страта и две ее формы, в третье неформальное измерение, которое сможет объяснить и стратифицированное сочетание двух форм и первенство одной из них над другой. Так в чем же состоит это измерение, эта новая ось?

Стратегии, или Нестратифицируемое: мысль извне (власть)

Что такое Власть? Формулировка Фуко кажется весьма простой: власть — это взаимоотношения сил или, точнее, всякие взаимоотношения сил являются “властными взаимоотношениями”. Постаремся прежде всего понять, что власть не является формой, например, не формой-государством, что взаимоотношения власти, в отличие от взаимоотношений знания, осуществляются не между двумя формами. Кроме того, сила никогда не бывает в единственном числе, ей уже по самой ее сути приходится находиться в отношениях с другими силами, так что всякая сила уже является отношением, то есть властью: у силы нет ни другого объекта, ни другого субъекта, кроме силы. Здесь не следует видеть возвращение к естественному праву, так как право само по себе является формой выражения, а Природа — формой видимости, и *насилие представляет собой один из сопутствующих моментов или одно из следствий силы, но никак не одну из ее составляющих*. Фуко стоит ближе к Ницше (да и к Марксу тоже), для которого соотношения сил значат гораздо больше, чем насилие и не могут определяться через насилие. Дело в том, что насилие воздействует на тела, объект, или определенные существа, меняя или разрушая их форму, тогда как у силы нет других объектов, кроме других сил, нет иного бытия, кроме взаимоотношений: “это действие, направленное на действие, на возможные или актуальные действия в настоящем или в будущем”, это совокупность действий, направленных на возможные действия”. Следовательно, можно представить список, при этом неизбежно откры-

тый, переменных, выражающих соотношения сил или власти, конституирующие действия, направленные на другие действия: побуждать, стимулировать, отклонять, облегчать или затруднять, расширять или ограничивать, делать более или менее вероятным...¹. Таковы категории власти. В книге "Надзирать и наказывать" разработан аналогичный, только более детальный список значений, какие на протяжении XVIII в. принимали соотношения сил: *размещать в пространстве* (что конкретизировалось как изолировать, разбивать на участки, расставлять в порядке, выстраивать в серию...), *распределять во времени* (делить время на все более малые промежутки, программировать действия, разлагать поступки на составные части...), *сочетать в пространстве-времени* (все способы "создания производительной силы, эффективность которой стала бы выше суммы составляющих ее элементарных сил")... Таким образом, уже упоминавшиеся нами ранее основные тезисы Фуко о власти выстраиваются по трем рубрикам: власть не является чем-то сугубо репрессивным (поскольку она "побуждает, вызывает, производит"); она осуществляется в действии прежде, чем ею овладевают (поскольку ею владеют лишь в детерминируемой форме, как, например, класс, и в детерминирующей форме, как, например, Государство); она проходит через тех, кто находится под властью не в меньшей степени, чем через властвующих (потому что она проходит через все силы, участвующие во взаимоотношениях). Словом, полное нищестановление.

Вопрос не в том, что такое власть, и не в том, откуда она исходит, а в том, как она осуществляется. Осуществление власти предстает как аффект, как действие, так как сама сила определяется через имеющуюся у нее способность воздействовать на другие силы (с которыми она находится во взаимоотношениях) и испытывать воздействие других сил. Слова "побуждать", "вызывать", "производить" (или какие угодно другие термины из аналогичных списков) обозначают активные аффекты, а словосочетания "быть побуждаемым", "быть вызываемым", быть "предназначенным чтобы

¹ С.: Deux essais sur le sujet et le pouvoir //, Dreyfus H., Rabinow P. Michel Foucault: un parcours philosophique. Gallimard, p. 313.

производить", "быть полезным" обозначают аффекты реакции. Последние представляют собой не просто "последствия" или "пассивную изнанку" первых, а скорее выглядят как "упорные визави", в особенности если принять во внимание, что сила, на которую оказывается воздействие, не лишена способности к сопротивлению². Каждая сила одновременно обладает способностью воздействовать на другие силы и испытывать воздействие со стороны других сил, так что каждая сила подразумевает взаимоотношения власти; именно все силовое поле в целом распределяет силы в зависимости от этих взаимоотношений и их вариаций. В результате спонтанность и восприимчивость обретают новый смысл: воздействовать и испытывать воздействие.

Свойство испытывать воздействие является чем-то вроде *материи* силы, а свойство воздействовать — чем-то вроде *функции* силы. Только речь здесь идет о чистой, то есть неформализованной функции, постигаемой независимо от конкретных форм, в которых она воплощается, от целей, которым она служит, и от средств, которые она использует: физика действия является физикой абстрактного действия. К тому же речь здесь идет о чистой, аморфной материи, взятой независимо от наделенных формой субстанций, независимо от обладающих качествами существ и объектов, в состав которых она войдет: это физика первичной, или голой, материи. Следовательно, категории власти являются детерминациями, присущими действиям, которые рассматриваются как "какие угодно" действия, и каким угодно носителям. Так, например, в книге "Надзирать и наказывать" Паноптика определяется через чистую функцию навязывать какую угодно работу или какой угодно вид поведения определенному множеству индивидуумов при одном единственном условии, что это множество будет немногочисленным, а пространство — ограниченным и малопротяженным. Не принимаются во внимание ни формы, которые задают цели и средства функциям (воспитывать, лечить, карать, заставлять производить), ни оформленные субстанции, которых касаются функции ("узники, больные,

² ВЗ, 126—127.

школьники, душевнобольные, рабочие, солдаты"...). Паноптика в конце XVIII века фактически пронизывает все эти формы и соотносится со всеми этими субстанциями: именно в этом смысле она представляет собой одну из категорий власти, в ее чисто дисциплинарной функции. Поэтому Фуко называет ее *диаграммой*, то есть функцией, которую "необходимо отделить от всякого специфического применения", равно как и от любой специфицированной субстанции³. В книге "Воля к знанию" анализируется другая функция, возникающая в ту же эпоху: управлять и распоряжаться жизнью в рамках какого угодно множества при условии, что это множество будет многочисленным (население), а пространство — протяженным или открытым. Вот тут-то и приобретает свой смысл — среди категорий власти — функция "делать вероятным", и в категории власти проникают вероятностные методы. Короче говоря, двумя чистыми функциями в новом обществе станут "анатомио-политическая" и "биополитическая" функции, а двумя видами голой материи — любое тело и любое население⁴. Значит, диаграмму можно определить многими способами, выстраивающимися в одну цепочку: это представление силовых взаимоотношений, свойственных данной формации; это распределение способностей воздействовать и испытывать воздействие; это перемешивание чистых неформализованных функций и чистых аморфных видов материи.

Не обстоит ли дело с соотношением сил, составляющих Власть, и соотношением форм, образующих Знание, так же, как и с двумя формами знания, с двумя его формальными элементами? Власть и знание различны по своей природе, гетерогенны; но между ними имеются и взаимодопущение, и вторжение на территорию друг друга, и, наконец, примат одного над другим. Прежде всего следует сказать о том, что у них разная природа, так как власть проходит не через формы, а только через силы. Знание же касается оформленных видов материи (субстанций) и формализованных

³ НН, 207 (и 229: "Что же удивительного в том, что тюрьма похожа на заводы, на школы, на казармы, на больницы, которые в свою очередь все похожи на тюрьмы?")

⁴ ВЗ, 183—188.

функций, посегментно распределенных при наличии двух основополагающих формальных условий, видения и говорения, света и языка: знание, следовательно, стратифицировано, архивизировано, наделено относительно жесткой сегментацией. Власть, напротив, диаграмматична: она мобилизует нестратифицированные виды материи и функций и работает с весьма гибкой сегментарностью, ведь она проходит не через формы, а через *точки*, единичные точки, которыми всякий раз отмечается применение силы, действие или противодействие силы по отношению к другим силам, то есть аффект как “состояние власти, всегда локальное и нестабильное”. Отсюда четвертое определение диаграммы: это эмиссия, распределение сингулярностей. Локальные, нестабильные и диффузные взаимоотношения власти не исходят из какой-либо центральной точки или же из какого-либо единственного очага верховной власти, а в каждое мгновение проходят в силовом поле “от одной точки к другой”, отмечая отклонения, изгибы кривой, повороты, вращения, перемены направления, сопротивление. Вот почему они “нелокализуемы” в той или иной инстанции. Они образуют стратегию как проявление нестратифицируемого, а “анонимные стратегии” почти слепы и немы, поскольку ускользают от стабильных форм зримого и высказываемого⁵. Стратегии отличаются от стратификаций, как диаграммы отличаются от архивов. Стратегическую, или нестратифицированную, среду определяет нестабильность властных отношений. Вот почему взаимоотношения власти не являются *известными*. В этом пункте концепция Фуко также несколько похожа на кантовскую, в которой чисто практическая детерминация несводима к какой бы то ни было детерминации теоретической или познавательной. Правда, у Фуко все является практикой, однако практика власти остается несводимой к великой практике знания. Чтобы отметить эту разнохарактерность, Фуко говорит, что власть отсылает к некой “микрофизике”, разумеется, при условии, что мы будем понимать “микро” не как простую

⁵ Важнейший текст, ВЗ, 122—126 (о точках, о стратегиях и их нестабильности; по поводу сопротивления Фуко эксплицитно выражается языком единичных точек в математике: “узлы, фокусы...”).

миниатюризацию зримых или высказывательных форм, а как иную область, новый тип взаимоотношений, как несводимое к знанию измерение мысли: подвижные и нелокализуемые связи⁶.

Подводя итог прагматизму Фуко, Франсуа Шатле хорошо сказал: “власть как осуществление, знание как упорядочение”⁷. Изучение стратифицированных отношений знания достигло своей кульминации в “Археологии”. Изучение же стратегических отношений власти начинается с книги “Надзирать и наказывать” и парадоксальным образом находит свою кульминацию в “Воле к знанию”. Дело в том, что различие природы власти и природы знания не препятствует их взаимодопущению, взаимному захвату областей распространения и взаимной имманентности. Науки о человеке неотделимы от делающих их возможными отношений власти, которые к тому же поощряют знания, более или менее способные к преодолению эпистемологического порога или к формированию познания: например, для науки о половых отношениях необходимы взаимоотношения “кающийся—исповедник”, “верующий—духовник”, а для психологии — дисциплинарные взаимоотношения. Речь идет не о том, что науки о человеке обязаны своим происхождением феномену тюрьмы, а о том, что они предполагают диаграмму сил, от которой зависит и сама тюрьма. И наоборот, взаимоотношения сил оставались бы транзитивными, нестабильными, исчезающими, почти виртуальными, во всяком случае неизвестными, если бы они не осуществлялись в оформленных или стратифицированных отношениях, формирующих знания. Даже знание о

⁶ О “микрофизике власти”, НН, 140. О нередуцируемости “микро”: ВЗ, 132. Наверно, следовало бы сопоставить мысль Фуко с социологией “стратегий” Пьера Бурдьё в том смысле, в каком концепция Бурдьё является микросоциологией. Возможно, ту и другую следует также соотнести с микросоциологией Тарда. Объектом последней были диффузные, исчезающе малые взаимоотношения; не какие-нибудь крупные множества и не великие люди, а мелкие идеи незначительных людей, чиновничье визирование, новые местные обычаи, языковые отклонения от нормы, распространяющиеся визуальные искажения. Все это связано с тем, что Фуко называет “сводом”. О роли “мелких изобретений” аргументация очень близкая Тарду, см. НН, 222.

⁷ Châtelet F., Pisier E. Les conceptions politiques du XX^e siècle. PUF, p. 1085.

Природе и прежде всего происхождение порога научности отсылают к силовым взаимоотношениям между людьми, но к таким, которые сами актуализируются в этой форме: никогда знание не отсылает к субъекту, который был бы свободен по отношению к диаграмме власти, но диаграмма власти никогда не бывает свободной по отношению к актуализирующим ее знаниям. Отсюда утверждение некоего комплекса *власть-знание*, который связывает диаграмму с архивом и сочленяет их, исходя из их разнохарактерности. “Между техниками знания и стратегиями власти не существует никакой экстериорности, даже они играют свою специфическую роль, и сочленяются друг с другом, *исходя из различия между ними*”⁸.

Взаимоотношения власти представляют собой дифференциальные отношения, которые определяют сингулярности (аффекты). Стабилизирующая и стратифицирующая их актуализация — это интеграция, операция, состоящая в прочерчивании “общей линии силы”, в соединении единичностей, выстраивании их в линию, их гомогенизации, серийном расположении, конвергенции⁹. Кроме того, немедленной глобальной интеграции не бывает. Бывает, скорее, множество локальных, частичных интеграций, каждая из которых соответствует определенным взаимоотношениям, определенным единичным точкам. Интегрирующие факторы, движущие силы стратификации образуют общественные институты: Государство, а также Семью, Религию, Производство, Рынок, даже само Искусство, Мораль... Общественные институты — это не источники и не сущности, и у них нет ни сущности, ни интериорности. Это практики, оперативные механизмы, которые не объясняют феномен власти, потому что они определяют ее взаимоотношения и довольствуются их “фиксацией” в воспроизводящей, а не производящей функции. Не существует и Государства, есть только огосударствление, и так же обстоит дело со всеми остальными случаями. Следовательно, для каждой исторической формации следует задавать вопрос о том, что относится к каждому институту, существующему в

⁸ ВЗ, 130.

⁹ ВЗ, 124.

этой страте, то есть какие взаимоотношения власти он интегрирует, какие взаимоотношения он поддерживает с другими институтами, и как происходят эти перераспределения от одной страты к другой. Здесь опять же речь идет о весьма разнообразных вторжениях, как горизонтальных, так и вертикальных. Если форма-Государство в наших исторических формациях захватила столько взаимоотношений власти, то произошло это не потому, что они являются ее производными; напротив, причина этого заключается в том, что процесс "непрерывной этатизации", весьма, впрочем, разнообразный в зависимости от конкретных случаев, произошел в системах педагогики, права, экономики, семьи, половых отношений и имеет своей целью глобальную интеграцию. В любом случае, государство предполагает взаимоотношения власти, но отнюдь не является их источником. Эту мысль Фуко выражает, говоря, что управление первично по отношению к государству, если под "управлением" понимать *способность воздействия во всех ее аспектах* (управлять детьми, душами, больными, семьей...) ¹⁰. Если мы, отправляясь от этого, попытаемся определить наиболее обобщенный характер какого-либо общественного института, например, государства, то, похоже, он будет состоять в организации предполагаемых взаимоотношений между властью и управлением, которые являются молекулярными, или "микрофизическими", отношениями и располагаются вокруг тотальной инстанции: Суверена или Права — для государства, Отца — для семьи, Денег, Золота или Доллара — для рынка, Бога — для религии, Секса — для сексуального института. В книге "Воля к знанию" анализируются эти два "привилегированных" примера: Право и Секс, причем вся заключительная часть книги демонстрирует, как дифференциальные взаимоотношения своего рода "сексуальности без секса" интегрируются в спекулятивном элементе секса "как уникального означающего и универсального означаемого", который нормализует желание, осуществляя "истеризацию" сексуальности. Однако всегда имеет место нечто вроде того, что происходит в романе

¹⁰ Ср. текст Фуко об «управлении» в: *Dreufus et Rabinow*, p. 314 и об общественных институтах: там же, p. 315.

Пруста: какая-то молекулярная сексуальность бурлит и рокочет под интегрированными полами.

Именно эти интеграции, эти тотальные инстанции и формируют разные виды знания (например, такие, как “*scientia sexualis*”). Но почему и на этом уровне возникает трещина? Фуко замечает, что любой общественный институт непременно имеет два полюса, или два элемента: “аппараты” и “правила”. Он организует крупные видимости, поля видимостей, а также крупные “высказываемости”, режимы высказываний. И, как всякий институт, он “двуформен”, двулик (секс, например, представляет собой одновременно секс говорящий и показывающий, язык и свет)¹¹. В более общем плане мы обнаруживаем здесь результаты предыдущих анализов: интеграция актуализируется или действует не иначе, как создавая при этом *дивергентные* пути актуализации, между которыми она распределяется. Или, точнее, актуализация осуществляет интеграцию не иначе, как создавая также некую формальную *систему дифференциации*. В каждой формации есть форма восприимчивости, которая образует зримое, и форма спонтанности, которая образует высказываемое. Разумеется, эти две формы не совпадают с двумя аспектами силы или же с двумя видами аффектов: восприимчивость — со способностью получать воздействие, а спонтанность — со способностью воздействовать. Но они от них образуются и находят в них свои “внутренние условия”. Происходит это потому, что взаимоотношения власти сами по себе формы не имеют и связывают между собой аморфные виды материй (восприимчивость) и неформализованные функции (спонтанность). В то же время отношения знания затрагивают с любой стороны наделенные формой субстанции и формализованные функции, то в виде зримого (восприимчивость), то в виде высказываемого (спонтанность). Сформированные субстанции отличаются зримостью, а формализованные, финализированные функции находят выражение в высказывании. Следовательно, не нужно смешивать аффективные категории власти (типа “побуждать”, “вызывать” и т.д.) и фор-

¹¹ ВЗ анализирует эти две формы: говорящий секс (101) и секс как свет (207).

мальные категории знания (“воспитывать”, “лечить”, “качать”...), которые проходят через видение и говорение с тем, чтобы актуализировать первую группу категорий. Однако именно благодаря этому исключаящему совпадению смещению у общественных институтов и возникает способность интегрировать отношения власти, формируя знания, которые их актуализируют и *перераспределяют*. В соответствии с рассматриваемым институтом или, точнее, в зависимости от характера его функционирования, видимости с одной стороны, и высказывания — с другой достигают того или иного порога, на котором они становятся политическими, экономическими, эстетическими... (“Проблема”, конечно же, состоит в том, чтобы узнать, может ли высказывание достичь некоего, к примеру, научного порога, при том, что видимость останется “внизу”. Или наоборот. Однако именно это и делает из истины проблему. Существуют государственные, художественные, научные видимости, так же, как и постоянно меняющиеся высказывания).

Как же происходит актуализация-интеграция? Из “Археологии знания” это можно узнать, по меньшей мере, наполовину. Фуко упоминает “регулярность” как свойство высказывания. Однако регулярность для Фуко обладает весьма точным смыслом: это кривая, соединяющая отдельные точки (“правило”). Взаимоотношения сил как раз и детерминируют единичные точки, отчего диаграмма всегда представляет собой эмиссию единичностей. Совершенно иначе ведет себя соединяющая их кривая, проходящая рядом. Альбер Лотман доказал, что в математике, в теории дифференциальных уравнений существуют “две абсолютно отличные друг от друга” реальности, хотя они являются абсолютно дополнительными по отношению друг к другу: существование и распределение единичных точек в поле векторов и наряду с ними форма интегральных кривых вблизи от них¹². Здесь берет начало метод, упомянутый в “Археологии”: серия точек продолжается пока не окажется по соседству с такой единичной точкой, откуда начинается новая серия, которая то сливается с первой (высказывания того же “семейства”), то уходит в сторону (другое семейст-

¹² *Lautman A. Le problème du temps. Germann, p. 41—42.*

во). В этом смысле кривая осуществляет взаимоотношения силы, регулируя их, выстраивая их в ряды, способствуя конвергенции серий, вычерчивая “линию обобщенной силы”: для Фуко не только кривые и графики являются высказываниями, но и сами высказывания являются разновидностями кривых или графиков. Чтобы лучше продемонстрировать, что высказывания не сводятся ни к фразам, ни к пропозициям, он утверждает, что буквы, которые я наудачу пишу на листе бумаги, образуют высказывание, “высказывание алфавитного ряда, подчиняющееся исключительно алеаторному закону”; точно так же и буквы, которые я печатаю согласно их расположению на клавиатуре французской пишущей машинки, образуют высказывание: А, Z, Е, R, Т (хотя указанные здесь клавиатура и буквы сами по себе высказываниями не являются, поскольку они являются видимостями). Если теперь мы объединим наиболее трудные или наиболее загадочные тексты Фуко, то узнаем еще, что высказывание непременно имеет специфическую связь с чем-то внешним, с “иной вещью, которая может быть до странности на него похожа и почти ему идентична”. Следует ли понимать это так, что у высказывания есть связь с видимостью, с буквами на клавиатуре? Разумеется, нет, потому что именно эта связь между зримым и высказываемым находится под вопросом. Высказывание никоим образом не определяется тем, что оно называет или обозначает. Похоже, необходимо уяснить следующее: *высказывание является кривой, которая соединяет единичные точки*, то есть реализует или актуализирует силовые взаимодействия в том виде, в каком они существуют во французском языке между буквами и пальцами, в зависимости от порядков частотности и смежности (или же, в другом примере, в зависимости от случая). Однако *сами единичные точки* с их силовыми взаимодействиями высказыванием уже не были: они были чем-то внешним по отношению к высказыванию, хотя высказывание может до странности напоминать их и даже быть почти идентичным им¹³. Что же касается

¹³ АЗ: о высказывании, кривой или графике, 109/84; случайном или частотном распределении, 114/87; о различии между клавиатурой и высказыванием, между буквами на клавиатуре и в составе высказывания, 114/87; о “другой вещи” или “о внешнем”, 117/90. Что касается совокупности этих проблем, то здесь в тексте Фуко говорится весьма кратко и лаконично.

видимостей, например, букв на клавиатуре, то они, будучи внешними по отношению к высказыванию экстерииорны, тем не менее сами внешнего не образуют. А значит, видимости находятся в том же положении, что и высказывания, то есть в специфическом положении, которое они должны “разрешить” на свой лад. Видимости тоже должны находиться в связи с актуализируемой ими “внешней средой”, с единичностями или взаимоотношениями сил, которые они в свою очередь тоже интегрируют, хотя и другим способом и в ином режиме, нежели это делают высказывания, поскольку видимости экстерииорны по отношению к высказываниям.

Кривая-высказывание интегрирует в языке интенсивность аффектов, дифференциальные взаимоотношения сил, сингулярности власти (потенциальности). Но в таком случае видимостям также необходимо интегрировать их совершенно по-иному, с помощью света, так, чтобы свет, как рецептивная форма интеграции, в свою очередь, проделал путь, сравнимый с путем языка, но не соответствующий ему как форме спонтанности. И взаимоотношения этих двух форм в рамках их “не-взаимоотношений” будут состоять в их двух способах фиксировать отношения нестабильных сил, локализовывать и обобщать диффузии, регулировать единичные точки. Дело в том, что видимости, со своей стороны, в свете исторических формаций образуют картины, являющиеся для зримого тем же, чем высказывание является для выразимого или читабельного. Образ картины всегда занимал мысли Фуко, и он часто употребляет это слово в весьма общем смысле, куда включаются и высказывания. Но происходит это потому, что в данных случаях он придает высказываниям общедескриптивное значение, которым они в строгом смысле слова не обладают. В самом точном смысле картина-описание и кривая-высказывание являются двумя гетерогенными степенями формализации и интеграции. Фуко вписывается в уже достаточно почтенную традицию в области логики, требующую различать природу высказываний и описаний (как например, это было у Расселла). Возникнув в логике, эта проблема получила неожиданно развитие в романе, сначала в “но-

вом романе”, а потом и в кинематографе. Тем важнее новое решение, которое предлагает Фуко: картина-описание является функцией регуляции, присущей видимостям точно так же, как и «читабельностям» — кривая-высказывание. Именно отсюда у Фуко страсть к описанию картин или, точнее, страсть делать описания, которые могут сойти за картины: таковы описания “Менин”, а также картин Мане и Магритта; превосходные описания вереницы каторжников или психиатрической лечебницы, тюрьмы, небольшой повозки для заключенных сделаны так, как если бы они были художественными полотнами, а Фуко — живописцем. В этом его несомненное родство и с “новым романом”, и с Реймоном Русселем, которое прослеживается на протяжении всего творчества Фуко. Вернемся к описанию “Менин” Веласкеса: путь света образует “спиральную раковину”, которая делает единичности зримыми и формирует из них соответствующее количество отблесков и отражений в полном “цикле” репрезентации¹⁴. Совершенно так же, как высказывания являются сначала кривыми и лишь потом — фразами и пропозициями, картины представляют собой линии света, прежде чем стать контурами и красками. А реализуют картину в данной форме восприимчивости единичности неких отношений сил, здесь — это отношения между художником и монархом в том виде, как они “чередуются в безграничном мерцании”. Диаграмма сил актуализируется одновременно и в картинах-описаниях, и в кривых-высказываниях.

Этот треугольник Фуко подходит как для эпистемологического анализа, так и для эстетического анализа. Кроме того, подобно тому, как видимости несут в себе высказывания, вторгшиеся на их территорию, так и сами высказывания имеют в своем составе видимости захвата, которые продолжают отличаться от них даже в тех случаях, когда оперируют словами. Именно в этом смысле можно с помощью чисто литературного анализа, и даже не выходя за его пределы, обнаружить различие между картинами и кривыми: описания могут быть словесными и, тем не менее, отличаться от высказываний. Мы имеем в виду, например,

¹⁴ СВ, 27 (и 319).

творчество Фолкнера: высказывания прочерчивают фантастические кривые, проходящие через дискурсивные объекты и позиции подвижных субъектов (одно имя для нескольких лиц, два имени для одного и того же лица) и вписывающиеся в некое бытие-язык, в средоточие всего языка, присущего Фолкнеру. Но описания рисуют и столько же картин, порождающих отражения, отблески, мерцания, видимости, меняющиеся в зависимости от времени дня и времени года, картин, которые распределяют все это в бытии-свете, средоточии всего того света, тайну которого знает только Фолкнер (Фолкнер, величайший “люминист” в литературе...). А поверх этих двух элементов накладывается третий в виде очагов власти, неведомых, незримых, немых, очагов, порождающих мучителей и их жертв, которые в семье, живущей на американском Юге, могут замещать друг друга и вырождаться — сплошное черное становление.

В каком смысле у власти есть приоритет над знанием, у отношений власти над отношениями знания? В том смысле, что последние вовсе не могли бы интегрироваться, если бы не существовало дифференциальных отношений власти. Верно и то, что в таком случае первые превратились бы в исчезающие, эмбриональные или виртуальные отношения, не включенные в операции, осуществляющие их интеграцию; отсюда взаимодействие власти и знания. Но если первенство принадлежит власти, то только потому, что две гетерогенные формы знания формируются путем интеграции и вступают в косвенные взаимоотношения, осуществляемые поверх зазора между ними или их “не-взаимоотношений” и в условиях, которые зависят только от сил. Вот почему косвенные отношения между двумя формами знания не подразумевают никакой общей формы или даже соответствия, а только неформальную стихию сил, обволакивающую обе формы. Диаграмматизм Фуко, то есть представление чистых взаимоотношений между силами или эмиссия чистых единичностей, выглядит аналогом кантовского схематизма: именно диаграмматизм обеспечивает отношения между несводимыми друг к другу формами спонтанности и рецептивности, из которых проистекает зна-

ние. И все это постольку, поскольку сила сама пользуется присущими ей спонтанностью и восприимчивостью, несмотря на то, что последние являются неформальными, или же, скорее, как раз из-за того, что те являются неформальными. Власть, взятая абстрактно, конечно же, не видит и не говорит. Она как крот, узнать о котором можно лишь по сети его подземных ходов, по его лабиринтообразной норе; она “осуществляется, исходя из бесчисленных точек”, она “идет снизу”. Однако при том, что власть не говорит и не видит, она способствует видению и говорению. Как выглядит проект Фуко, касающийся “жизни подлых людей”? Речь идет не о знаменитых людях, которые уже располагали речью и светом и прославились своими злыми делами. Речь идет о жизнях криминальных, но безвестных и безмолвных, встреча или столкновение которых с властью на мгновение извлекла их на свет, заставила заговорить. Можно даже утверждать, что если под знанием здесь не подразумевается некий изначальный, свободный и сырой опыт, как того хотелось бы феноменологии, то только потому, что Видение и Говорение уже полностью включены в предполагающие и актуализирующие их взаимоотношения власти¹⁵. Например, если мы попытаемся определить свод фраз и текстов с тем, чтобы извлечь из него высказывания, то это можно сделать не иначе, как определив очаги власти (и сопротивления), от которых этот свод зависит. Это главное: если отношения власти определяют отношения знания, то и последние тоже предполагают первые. Если высказывания бывают только рассредоточенными в одной форме экстерииорности, а видимости только рассеянными в другой ее форме, то это происходит потому, что взаимоотношения власти и сами по себе диффузны, многоточечны и находятся в такой стихии, у которой нет даже формы. Отношения власти обозначают “другую вещь”, к которой отсылают высказывания (а также видимости), даже если эти последние отличаются от них с большим трудом из-за незаметной и непрерывной работы интеграторов: как говорится в “Археологии”, эмиссия чисел в случай-

¹⁵ ЖПІ, (а о способе, которым власть способствует говорению, “высвечивает” и принуждает говорить, 15—17, 27).

ном порядке — это не высказывание, но их воспроизведение голосом или на листке бумаги — высказывание. Если власть не является обыкновенным насилием, то объясняется это не только тем, что она в своем формировании проходит через категории, выражающие отношения силы с силой (побуждать, вызывать, производить полезное действие и т.д.), но еще и потому, что, вступая во взаимоотношения со знанием, власть порождает какую-то истину, поскольку показывает и заставляет говорить¹⁶. Она порождает истину в виде проблемы.

Предыдущий анализ поставил нас перед лицом весьма своеобразного дуализма Фуко, существующего на уровне знания, между видимым и высказываемым. Однако следует отметить, что дуализм вообще имеет по меньшей мере три смысла: речь идет либо о подлинном дуализме, который отмечает нередуцируемое различие между двумя субстанциями, как у Декарта, или же между двумя способностями, как у Канта; либо речь идет о предварительном этапе, который выходит за свои пределы, эволюционируя в сторону монизма, как у Спинозы или Бергсона; речь также может идти о подготовительном распределении, осуществляемом в рамках плюрализма. Таков случай с Фуко. Если зримое и высказываемое вступают в поединок между собой, то происходит это в той мере, в какой соответствующие им формы, как формы экстерииорности, дисперсии или рассеивания, превращают их в два типа “множеств”, ни один из которых не может быть сведен к какому-либо единству: высказывания существуют лишь в пределах дискурсивных множеств, а видимости — в пределах недискурсивного множества. И эти два множества раскрываются в сторону третьего множества, множества взаимоотношений между силами, диффузного множества, которое уже больше не нуждается в бипарности и освободилось от каких бы то ни было дуальных форм. Книга “Надзирать и наказывать” непрестанно демонстрирует, что дуализм является следствием молярности или массовости, встречающихся во “множествах”. И дуализм силы, по формуле “оказывать воздействие — испытывать воздействие”, является лишь

¹⁶ ВЗ, 76, 98.

признаком в каждом из элементов множества сил, многосторонним бытием силы. Сиберберг как-то сказал, что разделение на два представляет собой попытку разбить множество, которое не является репрезентативным в одной-единственной форме¹⁷. Однако такое деление позволяет лишь отличать одни множества от других. Здесь заключается вся философия Фуко, которая является прагматикой множественного.

Если переменчивые сочетания двух форм, зримого и высказываемого, образуют страты, или исторические формации, то микрофизика власти, напротив, обнаруживает взаимоотношения сил в неоформленной и нестратифицированной среде. Вот почему сверхчувственная диаграмма не совпадает с аудиовизуальным архивом: она подобна априорности, которую предполагает историческая формация. Тем не менее ни под стратами, ни над стратами, ни даже вне их ничего нет. Подвижные, исчезающие и диффузные взаимоотношения сил находятся не вне страт, а являются их внешним. Вот почему а priori истории сами историчны. На первый взгляд, может показаться, что диаграммы зарезервированы за современными обществами: книга “Надзирать и наказывать” анализирует дисциплинарную диаграмму постольку, поскольку она заменяет проявления абсолютистской власти прежнего типа полицейской практикой деления территории на квадраты имманентно социальному полю. Однако так кажется только на первый взгляд: каждая стратифицированная историческая формация отсылает к диаграмме сил, как к своей внешней стороне. Наши дисциплинарные общества проходят через категории власти (действия в ответ на действия), которые можно определить следующим образом: навязывать какую-либо задачу или произвести полезный результат, контролировать какое-либо население или управлять жизнью. Но старые авторитарные общества можно было определить с помощью других, не менее диаграмматических, категорий: изымать (действие изъятия, направленное на действия или их мате-

¹⁷ Syberberg. Parsifal // Cahiers du cinéma, № 46. Сиберберг — один из тех кинематографистов, которые особенно тщательно разрабатывали альтернативу “говорить—видеть”.

риальные результаты; сила изъятия, направленная на другие силы), и выносить решения о смерти (“умерщвлять или даровать жизнь”, что весьма отличается от установки “управлять жизнью”)¹⁸. Существуют свои диаграммы как для первого, так и для второго случая. Фуко указал еще на одну диаграмму, к которой отсылала скорее церковная община, нежели общество в государстве, диаграмма “пасторская”, категории которой он расшифровывал как пасти паству..., как взаимодействие сил, или действие, направленное на действие¹⁹. Как мы увидим, можно говорить о древнегреческой, римской, феодальной диаграмме... Список бесконечен, как и список категорий власти (и дисциплинарная диаграмма, разумеется, не последнее слово). Определенным образом похоже на то, что диаграммы сообщаются между собой поверх соответствующих страт, под ними или между ними (так, например, “наполеоновскую” диаграмму можно определить как интерстратную, промежуточную между старым автократическим обществом и новым обществом дисциплины, прообразом которой она является)²⁰. И именно в этом смысле диаграмма отличается от страты: только стратифицированная формация придает ей ту стабильность, какой нет у самой диаграммы; сама по себе диаграмма нестабильна, подвержена волнению и брожению. Это парадоксальный характер априорности, микровозбужденность. Дело в том, что вступающие во взаимоотношения силы неотделимы от вариаций в соответствии с разделяющими их расстояниями и их взаимоотношениями. Короче говоря, силы находятся в непрерывном становлении, *существует некое становление сил, которое дублирует историю*, или, точнее, согласно концепции Ницше, обволакивает ее. Получается, что диаграмма — поскольку она обнаруживает множество взаимоотношений сил — является не местом, а скорее, “не-местом”: это лишь место для мутаций. Внезапно вещи перестают восприниматься, а пропозиции — высказываться прежним обра-

¹⁸ ВЗ, 178—179.

¹⁹ Ср. четыре категории “пасторской” власти в: *Dreyfus et Rabinow*, p. 305.

²⁰ НН, 219.

зом...²¹. Диаграмма, несомненно, сообщается со стабилизирующей или фиксирующей ее стратифицированной формой, а по другой оси — с другой диаграммой, с другими нестабильными состояниями диаграммы, проходя через которые, силы стремятся к мутирующему их будущему. Поэтому диаграмма всегда представляет собой внешнюю сторону страт. Не бывает такого проявления силовых взаимоотношений, которое в одно и то же время не являлось бы выделением единичностей, единичных точек. Дело отнюдь не в том, чтобы при этом что угодно связывалось с чем угодно. Речь, скорее, идет о последовательных тиражированиях, каждое из которых происходит наудачу, но во внешних условиях, детерминированных предыдущим тиражированием. Диаграмма, состояние диаграммы, всегда представляет собой смесь алеаторного и зависимого, как в цепи Маркова. “Железная рука необходимости встряхивает стакан для игры в кости”, — сказал Ницше, на которого ссылался Фуко. И, следовательно, сцепление событий осуществляется не через преемственность и интериоризацию, а поверх разрывов и дискретностей (мутация).

Следует различать экстериорность и внешнее. Экстериорность — это все еще форма, как показано в “Археологии знания”, и даже две внешние по отношению друг к другу формы, поскольку знание состоит из двух сред: света и языка, видеть и говорить. Внешнее же относится к силе: если сила всегда находится в состоянии взаимодействия с другими силами, то тем самым силы неизбежно отсылают к нередуцируемому внешнему, у которого больше нет даже формы и которое состоит из неразложимых расстояний, через которые одна сила воздействует на другую силу или же сама испытывает ее воздействие. Именно из внешнего одна сила сообщает другим силам или получает от других сил вариативное назначение, существующее лишь на определенном расстоянии или при определенных взаимоотноше-

²¹ О взаимоотношениях сил, становлении и “не-месте” ср. НГИ, 156. О мутации, способствующей тому, что вещи “внезапно” перестают восприниматься и высказываться прежним образом, ср. СВ, 229. А также ВЗ, 131: “Взаимоотношения между властью и знанием — это не данные формы распределения, а матрицы трансформаций”.

ниях. Следовательно, существует становление сил, которое не совпадает с историей форм, поскольку разворачивается в другом измерении. *Некое внешнее*, отдаленное более, чем весь внешний мир или даже любая форма экстериорности, отныне становящееся гораздо более близким. Как же две формы экстериорности смогли бы стать внешними по отношению друг к другу, если бы не существовало этого более близкого и более отдаленного внешнего? Это и есть “другая вещь”, упомянутая уже в “Археологии”... Если же два формальных элемента знания, внешние по отношению друг к другу, поскольку они гетерогенны, находят различные виды исторического согласия между собой и если они предлагают соответствующее количество решений “проблемы” истины, то причина этого заключается в том, что, как мы уже видели, силы работают в другом пространстве, нежели пространство форм, в пространстве Внешнего, как раз там, где взаимоотношения — это “не-взаимоотношения”, место — “не-место”, а история — становление. В творчестве Фуко статья о Ницше и статья о Бланшо взаимосвязаны или вытекают одна из другой. Если “говорить” и “видеть” — формы экстериорности, то “мыслить” обращается к внешнему, у которого нет формы.²² Мыслить — значит прийти к нестратифицируемому. “Видеть” означает “мыслить”, и “говорить” тоже означает “мыслить”, но мышление происходит в промежутке, в разрыве между видением и говорением. Здесь происходит второе пересечение Фуко и Бланшо: процесс мысли относится к внешнему, если только оно, эта “абстрактная буря”, проваливается в промежуток между видением и говорением. Обращение к проблеме внешнего — постоянная тема у Фуко, и это означает, что мышление не является лишь проявлением некоей врожденной способности, но должно еще “случиться” с мыслью. Мышление не зависит от прекрасной интериорности, которая соединяла бы зримое и высказываемое, но происходит в результате вторжения чего-то внешнего, что углубляет про-

²² Ср. статью в честь Бланшо, МИ. Две точки соприкосновения с Бланшо — это, следовательно, экстериорность (говорить и видеть) и внешнее (мыслить). О внешнем сил как о другом измерении, отличающемся от измерения внешних форм, как об “ином пространстве” см.: ЭНТ, 41—42.

межуток между ними и взламывает, расчленяет их внутреннее. “Когда внешнее углубляется и притягивает к себе интериорность...” Дело здесь в том, что внутреннее предполагает начало и конец, происхождение и предназначение, способные совпадать и составлять “все”. Но когда существуют только среды и промежутки, когда слова и вещи вскрываются средой, так никогда и не совпадая, то происходит это для высвобождения приходящих извне сил, которые существуют лишь в состоянии возбуждения, перемешивания и перестройки, в состоянии мутации. Поистине это похоже на броски игральные костей, поскольку мыслить — это все равно, что бросать игральные кости.

Вот то, что нам говорят силы внешнего: они никогда не бывают чем-то составным, историческим и стратифицированным, археологическим, которое подвергается трансформации, а являются составляющими силами, когда они вступают во взаимоотношения с другими силами, происходящими извне (стратегия). Становление, изменение, мутации касаются составляющих сил, но не составных форм. Почему эту идею, внешне столь простую, так трудно понять — вплоть до того, что “смерть человека” вызвала столько ошибок при толковании? То выдвигали возражение, что речь идет не о существующем человеке, а лишь об идее человека. То полагали, что для Фуко, как и для Ницше, существующий человек преодолевал себя, надеюсь, чтобы превратиться в сверхчеловека. В обоих случаях речь идет о непонимании, о не меньшем непонимании Фуко, нежели непонимание Ницше (мы пока не ставим вопрос о недоброжелательстве и глупости, порою наполняющих комментарии к работам Фуко, как это прежде было с комментариями к Ницше). На самом же деле речь не идет о человеке, как о чем-то составном, будь то концептуальном, существующем, воспринимаемом или выразимом. Речь идет о составляющих силах человека: с какими другими силами они сочетаются и какое соединение из этого получается? В классическую эпоху все силы человека соотносились с одной-единственной силой, силой “репрезентации”, которая притягала на то, чтобы извлечь из человека все, что в нем

есть позитивного или же *возвышаемого до бесконечности*. В результате получалось, что совокупность таких сил образует Бога, а не человека, и человек мог предстать только между порядками бесконечного. Вот почему Мерло-Понти давал определение классической мысли по ее «невинному» способу мыслить о бесконечном: не только бесконечное было первичным по отношению к конечному, но и качества человека, доведенные до бесконечности, служили формированию непостижимого единства Бога. Для того, чтобы человек предстал как специфическое составное явление, нужно, чтобы составляющие его силы вступили во взаимоотношения с новыми силами, которые уклоняются от контакта с силой репрезентации и даже устраняют ее. Эти новые силы являются силами жизни, труда и языка в той мере, в какой жизнь обнаруживает «организацию», труд — «производство», а язык — «филиацию», которые ставят эти силы за пределы репрезентации. *Эти смутные силы, порожденные конечностью, изначально не являются человеческими*, но они входят в контакт с силами человека, чтобы вернуть его к его собственной конечности и наделить его историей, чтобы он делал собственную историю как бы во второй раз²³. И в результате в новой исторической формации XIX века именно человек оказывается сформированным из множества составляющих его «растиражированных» сил. Однако если мы представим себе, скажем, третий «тираж», то силы человека войдут в контакт еще с какими-нибудь силами, так что на этот раз получится «нечто иное», что уже не будет ни Богом, ни человеком: похоже, что смерть человека следует за смертью Бога в интересах новых составляющих. Короче говоря, соотношения составляющих сил с внешним способствуют непрестанной изменчивости составных форм в условиях новых соотношений в пользу новых композиций. То, что человек представляет собой

²³ Это имеет основополагающее значение для СВ: Фуко говорит вовсе не о том, что жизнь, труд и язык — это силы человека, которые он осознает как свою конечность. Напротив, жизнь, труд и язык *вначале* возникают как силы внешние по отношению к человеку и навязывающие ему историю, которая ему не принадлежит. Лишь впоследствии человек присваивает эту историю и превращает собственную конечность в своего рода фундамент. Ср. 380—381, где Фуко резюмирует два момента этого анализа.

фигуру из песка между морским отливом и приливом, следует понимать буквально: такая композиция может появиться только между двумя другими — композицией из классического прошлого, которое не знало человека, и композицией из будущего, которое уже не будет его знать²⁴. Тут нет оснований ни для радости, ни для слез. Разве мы не привыкли к утверждению о том, что силы человека уже вступили во взаимоотношения с другими силами, силами информации, которые вместе образуют не человека, а нечто иное, неделимые системы “человеко-машина” с машинами третьего типа? Что это, союз человека уже не с углеродом, а с кремнием?

Каждая сила получает воздействие от других сил всегда извне или же сама оказывает на них воздействие. Способность воздействовать или же испытывать воздействие — это власть, которая получает разное наполнение в зависимости от соотношения сил. Диаграмма как детерминация совокупности отношений сил никогда не исчерпывает силу, которая может вступить в другие взаимоотношения и войти в состав других композиций. Диаграмма приходит извне, но внешнее ни с какой диаграммой не сливается, а непрестанно “тиражирует” все новые диаграммы. Поэтому внешнее всегда представляет собой открытость по отношению к будущему, с наступлением которого ничего не кончается, поскольку ничего и не начиналось, но все видоизменяется. Сила в этом смысле располагает определенным потенциалом по отношению к диаграмме, из которой она получена, или обладает третьей властью, которая проявляется как способность к “сопротивлению”. Фактически диаграмма сил представляет, помимо (или, скорее, “напротив”) единичностей власти, соответствующих властным отношениям, еще и единичности сопротивления, такие “точки, узлы и очаги”, которые, в свою очередь, осуществляются на всех стратах, но так, что делают эти страты способными к изменению²⁵. Более того, последнее слово

²⁴ Последняя фраза в СВ. В Приложении мы предлагаем более детальный анализ проблемы смерти человека.

²⁵ ВЗ, 126—127 (“множество точек сопротивления”, которые интегрируются или стратифицируются, чтобы сделать “возможной революцию”).

власти гласит: *сопротивление первично* в той мере, в какой взаимоотношения власти целиком помещаются в диаграмме, тогда как все виды сопротивления неизбежно напрямую связаны с тем внешним, из которого возникли диаграммы²⁶. Таким образом, социальное поле сопротивляется в еще большей степени, чем разрабатывает стратегии, и мысль извне является мыслью о сопротивлении.

Три века назад глупцы изумлялись тому, что Спиноза желал освобождения человека, хотя и не верил ни в его свободу, ни даже в его особое существование. Сегодня новые глупцы, или перевоплощения прежних, изумляются тому, что Фуко, возвестивший о смерти человека, участвовал в политической борьбе. Выступая против Фуко, они выдвигают универсальную и вечную концепцию прав человека, который должен быть застрахован от какого бы то ни было анализа. Уже не в первый раз обращение к вечному представляет собой маскировку слишком немогущей и поверхностной мысли, не ведающей даже о том, что должно ее питать (возьмите все трансформации современного права по сравнению с XIX веком). Надо признать, что Фуко никогда не придавал большого значения универсальному и вечному: все это только массовые или глобальные следствия определенных перераспределений сингулярностей в той или иной исторической формации и в условиях конкретного процесса формализации. Под поверхностью универсального происходят игры единичностей, их порождение, а универсальность или вечность человека представляют собой лишь тень определенной единичной и преходящей комбинации, которую несет определенная историческая страта. Единственный случай, когда универсальное заявляет о себе одновременно с появлением высказывания — это математика, поскольку “порог формализации” совпадает в ней с порогом возникновения. Во всех же иных сферах универ-

²⁶ См.: *Dreyfus et Rabinow*, p. 300. А также о шести видах сингулярностей, представленных в формах современных видов сопротивления, 301—302 (в частности, “трансверсальность” современных типов борьбы, идея, общая для Мишеля Фуко и Феликса Гваттари). У Фуко присутствует эхо тезисов Марио Тронти в его интерпретации марксизма см.: “Рабочие и капитал”), *Tronti M. Ouvriers et capital*, Ed. Bourgois), идея “рабочего” сопротивления, которая якобы *первична* по отношению к стратегии капитала.

сальное вторично²⁷. Фуко может изобличать “движение логоса, возвышающего единичности до уровня понятий”, поскольку “этот логос является фактически уже произнесенным дискурсом”, заранее готовым, который возникает тогда, когда все уже сказано, когда все уже умерло и возвратилось в “безмолвную интериорность самосознания”²⁸. Правовой субъект в тот момент, когда он создается, — это жизнь как носительница единичностей, как “полнота возможного”, а не человек как форма вечности. И, конечно же, человек пришел на место жизни, на место правового субъекта в ту пору, когда жизненные силы на какое-то мгновение сформировали его облик, в политическую эпоху Конституций. Однако сегодня право еще раз поменяло свой субъект, потому что даже *в человеке* жизненные силы входят в другие комбинации и образуют иные фигуры: “То, чего люди требуют и что служит целью, является жизнью... Это жизнь в гораздо большей степени, нежели право, которое стало ставкой в политической борьбе, даже если последняя и формулируется с помощью тезисов права. Право на жизнь, право на тело, на здоровье, на счастье, на удовлетворение потребностей..., это право, столь непостижимое для классической юридической системы...”²⁹.

Ту же самую мутацию мы наблюдаем в статусе “интеллектуала”. В многочисленных опубликованных интервью Фуко разъясняет, что интеллектуал мог претендовать на универсализм в течение длительного периода, начиная с XVIII в. и до второй мировой войны (возможно, до Сартра — через Золя, Роллана...): он мог это делать в той мере, в какой уникальность писателя совпадала с его позицией “юриста-нотабля”, способного противостоять

²⁷ АЗ, 246/187: “...сама возможность ее (математики) существования подразумевает то, что во всех науках остается рассеянным на протяжении всей истории... Однако рассматривая установление математического дискурса как прототип рождения и становления любой другой науки, мы рискуем привить однородность любой частной форме историчности...”

²⁸ ПД, 50—51.

²⁹ ВЗ, 191 (и все с 179 по 191). Об эволюции права, берущего в качестве человеческого объекта жизнь (социальное право), а не личность (гражданское право), см. анализ Франсуа Эвальда со ссылками на Фуко: ср. “*Ewald F. L’Etat providence*. Grasset, в частности 24—27.

профессионалам права, а следовательно, и производить впечатление универсализма. Если же интеллектуал изменил свой облик (а также и функцию письма), то произошло это потому, что изменилось само его положение, и теперь “атомщик, генетик, информатик, фармаколог...” перемещается от одного специфического места к другому, из одной единичной точки к другой, оставляя впечатление трансверсальности, а не универсальности, функционируя в роли привилегированной транспортной развязки или перекройки³⁰. В этом смысле интеллектуал, и даже писатель, могут (хотя это только лишь возможность) тем эффективнее участвовать в борьбе, в актуальном сопротивлении, чем больше они “трансверсальны”. Поэтому интеллектуал или писатель обретают способность говорить скорее на языке жизни, чем на языке права.

Что хочет сказать Фуко на самых блестящих страницах “Воли к знанию”? Когда диаграмма власти уходит от модели автократии, чтобы предложить дисциплинарную модель, когда она становится “биовластью” и “биополитикой” населения, становится заботой о жизни и управлением жизнью, то новым объектом власти вдруг становится жизнь. И тогда право постепенно отказывается от того, что составляло привилегию суверена, от права на умерщвление (смертная казнь), но при этом позволяет творить тем больше гекатомб и геноцидов: не ради возвращения к стародавнему праву на убийство, а, наоборот, во имя расы, во имя жизненного пространства, ради улучшения условий жизни, ради выживания нации, которая считает себя лучшей и обращается со своим врагом уже не как с юридическим противником суверена прежних времен, а как с токсическим агентом или с возбудителем заразы, как со своего рода “биологической опасностью”. С этого момента и “по одним и тем же причинам” наблюдается тенденция к отмене смертной казни, а холостяков становится все больше, что еще убедительнее свидетельствует о смерти человека. Однако когда власть таким образом избирает своим объектом или целью жизнь, сопротивление власти тоже на-

³⁰ Интеллектуал “универсальный” и интеллектуал “конкретный”. См.: L’arc, № 70 (интервью с Фонтаной).

чинает ссылаться на жизнь и обращает ее против власти. “Жизнь как политический объект оказалась некоторым образом пойманной на слове и обращенной против системы, которая пыталась ее контролировать”. Вопреки тому, что утверждал “готовый” дискурс, чтобы сопротивляться, вовсе нет необходимости ссылаться на человека. Сопротивление, как говорил Ницше, извлекает из “ветхого” человека силы более обширные, более активные, более оптимистические, более богатые возможностями жизни. «Сверх-человек» никогда не означал ничего иного, кроме следующего: следует освободить жизнь *в самом человеке*, потому что человек сам является своего рода ее тюремщиком. Когда власть делает своим объектом жизнь, жизнь становится сопротивлением по отношению к власти. Здесь опять же обе операции происходят на одном и том же горизонте (это хорошо видно в вопросе об аборте, когда наиболее реакционные власти ссылаются на некое “право на жизнь”...). Когда власть становится биовластью, сопротивление превращается во власть жизни, в витальную власть, которая не позволяет себе остановиться на типах, средах или путях той или иной диаграммы. Разве сила, пришедшая извне, не является до известной степени идеей Жизни, определенным витализмом, в котором находит свою кульминацию мысль Фуко? Разве жизнь — это не способность сопротивляться силой? Начиная с книги “Рождение клиники” Фуко испытывал восхищение перед Биша за то, что тот открыл новый витализм, определив жизнь как совокупность функций, оказывающих сопротивление смерти³¹. И именно в человеке призывает Фуко, так же как и

³¹ РК, 146: Биша релятивизировал идею смерти, сбросив ее с пьедестала того абсолюта, на котором она представляла как событие неделимое, решающее и безвозвратное. Он “испарил” ее, распределив по жизни в виде смертей частичных, смертей по частям, постепенных и таких медленных, что “по ту сторону” они завершаются самой смертью. Однако же из этого факта он образовал одну из основополагающих структур медицинской мысли и медицинского восприятия; то, чему противостоит жизнь, и то, чему она подвергается; то, по отношению к чему она предстает как живое сопротивление, и, следовательно, жизнь; то, по отношению к чему она обнаруживается аналитическим образом, а, значит, является подлинной... На фоне такого мортализма и возникает витализм”.

Ницше, искать совокупность тех сил и функций, которые сопротивляются... смерти человека. Спиноза писал: "Неизвестно, на что способно человеческое тело, когда оно освобождается от навязанной ему человеком дисциплины." А вот что писал Фуко: неизвестно, на что способен человек, "пока он жив" как совокупность "сопротивляющихся сил" (ВЗ, 190).

Складки, или Внутренняя сторона мысли (субъективация)

Что происходило в течение довольно длительного периода молчания, последовавшего за написанием "Воли к знанию"? Возможно, у Фуко возникло ощущение какого-то недоразумения, связанного с этой книгой: не запер ли он себя в рамки отношений власти? Возразил он себе сам следующим образом: "Хороши же мы, с нашей неизменной, всегда одной и той же *неспособностью пересечь линию*, перейти на другую сторону... Выбор всегда одинаков, он на стороне власти, на стороне того, что она говорит или заставляет говорить..."¹. И, конечно же, это он сам себе отвечает: "самая интенсивная точка жизни, та, где концентрируется ее энергия, точка, в которой жизнь сталкивается с властью, борется с ней, пытается использовать ее силы или не попасться в ее ловушки". Он мог бы еще припомнить, что, согласно его же мнению, диффузных центров власти не существует без своего рода первичных точек сопротивления, что власть, не ставя своей целью жизнь, в результате выявляет и пробуждает жизнь, сопротивляющуюся власти, и, наконец, что сила внешнего непрестанно вносит сумятицу в диаграммы и опрокидывает их. Но что происходит в обратном случае, если трансверсальные взаимоотношения сопротивления непрерывно рестратифицируются, наталкиваются на узлы власти или даже производят их? Фуко опечалил окончательный провал тюремного движения после 1970 года*, а впоследствии дру-

¹ ЖПЛ, 16.

* Имеется в виду конфликт между "Группой информации о тюрьмах", организованной Фуко, и "Инициативным комитетом" заключенных, приведший к самороспуску "группы" в конце 1972 г. (Прим. ред.).

гие события, уже в мировом масштабе, усугубили его печаль. Если власть учреждает истину, то как можно помыслить “власть истины”, которая уже не была бы истиной власти, истиной, исходящей от трансверсальных линий сопротивления, а отнюдь не от интегральных линий власти? Как “пересечь линию”? А если следует идти к жизни как к силе внешнего, то что позволяет нам думать, что это внешнее не является ужасающей пустотой, а сама эта на первый взгляд вроде бы сопротивляющаяся жизнь — обыкновенным рассеиванием в этой пустоте “частичных, постепенных и медленных” смертей? Уже даже невозможно сказать, что смерть преобразует жизнь в судьбу, в “неделимое и решающее” событие; можно, скорее, сказать, что смерть множится и дифференцируется, чтобы предоставить жизни единичности, то есть истины, которые жизнь считает полученными в результате своего сопротивления. Что же тогда остается, как не пройти через все эти смерти, предшествующие великому рубежу самой смерти и продолжающиеся даже после нее? Жизнь отныне состоит в том, чтобы занять свое место, занимать все свои места в кортеже под названием “умирание”. Именно в этом смысле Биша и порвал с классической концепцией смерти, считавшейся ранее решающим моментом и неделимым событием, причем порвал в двух направлениях: с одной стороны, он предлагал считать смерть равнообъемной жизни, а с другой — составленной из множества частичных и единичных смертей. Когда Фуко анализирует тезисы Биша, его тон в достаточной степени показывает, что речь идет о чем-то ином, нежели об эпистемологическом анализе². Речь идет о понимании смерти, и мало найдется людей, чья смерть оказалась бы в такой же степени, как у Фуко, соответствующей их представлениям о ней. Могущество принадлежавшей ему жизни Фуко всегда мыслил и воспринимал как и Биша, в виде многократной смерти. Что же в таком случае остается, кроме этих безымянных жизней, которые проявляют себя только сталкиваясь с властью, борясь с ней, обмениваясь с ней “краткими и пронзительными речами”, перед тем, как вернуться в ночь, — того, что Фуко называл

² РК, 142—148, 155—156.

“жизнью подлых людей” и предлагал нашему вниманию по причине “их горя, ярости или безотчетного безумия”³. Странно и неправдоподобно, но он пытался востребовать именно эту “подлость”: “Я исходил из существования этого подобия частиц, заряженных тем большей энергией, чем меньше они сами и чем труднее их различить”. И так вплоть до душераздирающего выражения из книги “Использование удовольствий”: “освободиться от самого себя...”⁴.

“Воля к знанию” заканчивается явными сомнениями. И если в конце “Воли к знанию” Фуко обнаруживает, что зашел в тупик, то произошло это не из-за какого-либо неправильного представления о власти, а, скорее, из-за того, что он обнаружил тупик, в который нас заводит сама власть — как в нашей жизни, так и в нашей мысли, — нас, наталкивающих на нее везде, вплоть до наших самых ничтожных истин. Выход может быть лишь в том, что внешнее окажется вовлеченным в движение, которое оторвет его от пустоты, средоточием движения, отвлекающего его от смерти. В результате здесь возникает новая ось, отличающаяся сразу и от оси знания, и от оси власти. Что это, ось, на которой завоевывается спокойствие? Подлинное утверждение жизни? Во всяком случае, эта ось не отменяет другие, поскольку она уже работала одновременно с другими осями, мешая им замыкаться в тупике. Возможно, эта третья ось присутствовала у Фуко с самого начала (подобно тому, как власть с самого начала присутствовала в зна-

³ ЖПЛ, 16. Заметим, что Фуко возражает против двух других концепций “подлости”. Одна из них, близкая к концепции Батая, предполагает жизни, вошедшие в легенды и историю благодаря самой их неумеренности (это “подлость” классическая, слишком “общеизвестная”, как, к примеру, в случае с Жилем де Рэ, а, значит, и ненастоящая). Согласно другой концепции, более близкой к Борхесу, жизнь становится легендой из-за того, что сложность ее начинаний, изгибов, разрывов и скачков можно понять разве что в повествовании, способном исчерпать возможное, учесть даже противоречащие друг другу влияния внешних случайных событий (это “барочная” подлость, примером которой может служить Стависки). Но Фуко имеет в виду третью подлость, в сущности говоря, подлость редкости, подлость незначительных, безвестных и простых людей, которые лишь на мгновение привлекают к себе внимание, и то благодаря судебным искам и полицейским сообщениям. Эта концепция близка чеховской.

⁴ ИУ, 14.

нии). Но она может проявиться лишь на некотором расстоянии, хотя и не без риска вернуться на две предыдущие оси. Фуко ощущал необходимость какого-то общего переустройства, пытаясь сделать более различимым тот путь, который оставался малозаметным, пока переплетался с другими путями: именно об этом переустройстве Фуко ведет речь в общем введении к “Использованию удовольствий”.

Каким же образом этому новому измерению все-таки удавалось присутствовать с самого начала? До настоящего времени мы уже встречались с тремя измерениями: с отношениями, наделенными формой, формализованными в стратах (Знание); со взаимоотношениями сил на уровне диаграммы (Власть) и с отношением к внешнему, которое Бланшо назвал абсолютным и которое одновременно является “не-отношением” (Мысль). Означает ли это, что внутреннего не существует? Фуко непрестанно подвергает радикальной критике понятие интериорности. Но *глубже ли внутреннее любого внутреннего мира*, подобно тому, как внешнее более отдаленно, чем весь внешний мир? Внешнее — это не застывший предел, это движущаяся материя, оживляемая перистальтическими движениями, складками и изгибами, образующими внутреннее: это не нечто иное, отличное от внешнего, это как раз и есть *внутреннее внешнего*. Именно эта тема анализировалась в “Словах и вещах”: если мысль происходит от внешнего и не перестает за него держаться, то как внешнему, как тому, что она не мыслит, не может помыслить, не зародиться во внутреннем?

Вот почему немислимое находится не снаружи мысли, а в самой ее сердцевине, как невозможность мыслить, которая удваивает или углубляет внешнее⁵. То, что у мысли есть нечто внутреннее, немислимое, говорилось уже в классическую эпоху, когда она обращалась бесконечному, к различным порядкам бесконечного. А начиная с XIX века наличные измерения конечного стали как бы стягивать внешнее в складки, сокращая его, образуя некую “глубину”, своего рода “втянутую в себя толщину”, то внутреннее жизни, труда и языка, в котором размещается человек, хотя бы

⁵ СВ, 333—339/343—349: “cogito и немислимое”.

лишь для того, чтобы спать, но это внутреннее еще и само размещается в бодрствующем человеке “как живом существе, индивидууме за работой или говорящем субъекте”⁶. То ли складка бесконечного, то ли изгибы конечности, но все они придают внешнему кривизну и конституируют внутреннее. Еще в “Рождении клиники” было продемонстрировано, как клиника работала с телом как с внешней поверхностью и как патологическая анатомия вводила туда впоследствии глубокую складчатость, которая, не воскрешая прежней интериорности, скорее, образовывала новое внутреннее этого внешнего⁷. Внутреннее как работа внешнего: похоже, что во всех произведениях Фуко преследовала тема внутреннего, которое является всего лишь складкой внешнего в такой же мере, в какой, например, корабль был бы складкой моря. По поводу безумца, брошенного на судно в эпоху Возрождения, Фуко писал: “Он помещен *во внутреннее внешнего*, и наоборот,... он узник посреди самой свободной среды, самой открытой из дорог, крепко прикованный к бесконечному перекрестку, он является прежде всего Путником, то есть пленником своего пути”⁸. А мысль, собственно, и не имеет иного бытия, ее бытие и есть этот безумец. “Замкнуть внешнее, то есть сделать из него интериорность ожидания или исключения”, — писал Бланшо по поводу Фуко⁹.

И все-таки темой, неотступно преследовавшей Фуко, была тема двойника. Однако двойник рассматривался не как проекция внутреннего, а, напротив, как интериоризация внешнего. Это не раздвоение Единого, а удвоение Другого. Это не воспроизводство Тожественного, а повторение Отличного. Это не эманация Я, а придание имманентности вечно иному или вечному *Не-Я*. Двойником в удвоении никогда не бывает другой, это всегда Я, переживающий себя как двойник другого: я не встречаюсь с собой снаружи, я нахожу другого в себе (“речь идет о том, чтобы показать, как Иное, Далекое, есть в то же время и Близкое, Тождест-

⁶ СВ, 263, 324, 328, 335.

⁷ РК, 132—133, 138, 164.

⁸ ИБ, 22.

⁹ Бланшо М. *L'entretien infini*, 292.

венное”)¹⁰. Это очень похоже на инвагинацию тканей в эмбриологии или на изготовление подкладки при шитье: выворачивать, закатывать, штуковать... На наиболее парадоксальных страницах “Археологии знания” Фуко продемонстрировал, как одна фраза повторяет другую и, в особенности, как высказывание повторяет, дублирует почти не отличающуюся от него “иную вещь” (воспроизведение букв на клавиатуре пишущей машинки, AZERT). Книги же о власти показали еще и то, как в стратифицированных формах повторяются соотношения почти не отличающихся от них сил, каким образом история оказывается подкладкой* будущего. В книге “Реймон Руссель” Фуко в полной мере проанализировал эту сквозную для него тему. Ибо то, что открыл Реймон Руссель, — это фраза внешнего, ее повторение в другой фразе, незаметная разница между ними (“прореха”), выворачивание, подкладка или удвоение одной по отношению к другой. Прореха — это теперь уже не повреждение ткани, а новое правило, согласно которому внешняя ткань выворачивается, инвагинируется и превращается в подкладку. “Факультативное” правило, или же случайная эмиссия, бросок игральные костей. “Соотносятся” они между собой, по словам Фуко, благодаря взаимовлиянию повторения, различения и удваивания как операций по созданию подкладки. Не первый раз Фуко придавал литературно-юмористический вид тому, что можно было доказать при помощи эпистемологии, лингвистики и прочих серьезных дисциплин. Книга “Реймон Руссель” спаяла, сшила воедино все смыслы слова “подкладка”, чтобы продемонстрировать, каким образом внутреннее всегда оказывается складчатостью подразумеваемого внешнего¹¹. А последний метод Русселя — нагнетание скобок внутри скобок — умножает складки в фразе. Вот откуда происходит

¹⁰ СВ, 350/360 (и о человеке, по Канту, как о “эмпирико-трансцендентальном дублете” и “эмпирико-критическом удвоении”).

* В оригинальном тексте слова двойник («double») и подкладка («doubleure») — слова одного корня.

¹¹ Это постоянные темы РР (особенно гл. II, в которой перечислены все смыслы (подкладки) в связи с русселевским текстом “Щелчок”, “стихи о заплате к подкладке у Корсара—Красного Каблука”, 37—38).

важность этой книги Фуко. И несомненно, что указанный им путь и сам двойствен. Это вовсе не значит, что можно поменять местами одно с другим: внутреннее всегда будет лишь подкладкой *внешнего*. Но иногда, подобно неосторожному и ищущему смерти Русселю, нам хочется распороть подкладку, “ловким жестом” отвести в сторону складки, чтобы обнаружить внешнее и его “пустоту, в которой нельзя дышать”. А иногда, будучи более разумными и осторожными, подобно Лейрису, при том, что он находится на вершине другого типа отваги, мы будем следовать загибам складок, штопать подкладку прореха за прорехой, будем окружать себя складками, образующими “абсолютную память”, чтобы превратить внешнее в жизненно важную и возрождающуюся стихию¹². В “Истории безумия” было сказано: быть помещенным во внутреннее внешнего — и наоборот... Возможно, Фуко так и не перестал колебаться между этими двумя путями двойника, которые он слишком рано расчистил: ему предстоял выбор между смертью и памятью. И, возможно, подобно Русселю, он выбрал смерть, но пройдя перед этим по окольным путям и изгибам памяти.

Может быть, следовало бы совершить путешествие в прошлое вплоть до древних греков... Тогда самую жгучую проблему можно было бы рассмотреть хладнокровно и спокойно. Если складчатость и проблема удвоения, существуя подспудно по сути во всех произведениях Фуко, находят там себе подобающее место лишь с запозданием, то причина этому заключается в том, что он обратился к новому измерению, которое должно было отличаться сразу и от отношений сил или власти, и от стратифицированных форм знания, — к проблеме “абсолютной памяти”. Древнегре-

¹² Следует процитировать весь текст, посвященный сравнению Русселя и Лейрису, поскольку мы полагаем, что в нем фигурирует нечто касающееся всей жизни Фуко: “Из такого количества вещей без статуса, из стольких фантастических актов гражданского состояния [Лейрис] медленно собирает собственную самотождественность, как будто в *складках* слов вместе с неумершими химерами дремлет абсолютная память. А вот Руссель отбрасывает эти же самые складки сосредоточенным жестом, чтобы найти за ними непригодный для дыхания вакуум, отсутствие существа, которым он мог бы распоряжаться, чтобы создавать образы без роду-племени (28—29).

ческая формация обнаруживает своеобразные властные взаимоотношения, весьма отличные от формаций Римской империи, которые актуализируются в свете древнегреческих представлений как режим видимости, а в греческом логосе как режим высказываний. Следовательно, можно говорить о диаграмме власти, простирающейся через точные знания: “обеспечить управление самим собой, осуществлять управление собственным домом, участвовать в управлении полисом — вот три практики одного и того же типа”, и Ксенофонт “убедительно показывает непрерывность и изоморфизм, соединяющие эти три умения, равно как и хронологическую последовательность, в которой они реализуются в жизни индивидуума”¹³. Однако новаторство греков проявилось не здесь, а лишь впоследствии, в момент двойного “отрыва”: когда “упражнения, позволяющие управлять самим собой”, *отделяются* одновременно и от власти, как взаимодействия между силами, и от знания, как стратифицированной формы, как “кодекса” добродетели. С одной стороны, существуют определенные “отношения личности к самой себе”, которые начинают ответвляться от взаимоотношений с другими людьми; с другой стороны, имеется еще и некое “формирование самости”, начинающее отделяться от морального кодекса как правила знания¹⁴. Эти производные и этот отрыв следует понимать в том смысле, в каком “отношение к самому себе” обретает независимость. Происходит так, словно взаимоотношения с внешним изгибаются и искривляются с тем, чтобы образовать «подкладку» и породить отношение к самому себе, конституировать внутреннее, которое углубляется и развивается согласно присущему ему измерению: “энкратия”, отношение к самому себе как самообладание, “есть власть, которую осуществляют над самим собой *в рамках* власти, которую осуществляют над другими” (как можно притязать на то, чтобы управлять другими, не умея при этом управлять самим собой?), вплоть до того, что отношение к самому себе становится “принципом внутренней регуляции” по отношению к силам, составляющим политику,

¹³ ИУ, 88.

¹⁴ ИУ, 90 (два аспекта “отрыва” после классической эпохи).

семью, красноречие и игры, и даже добродетель¹⁵. Это греческая версия прорехи и подкладки: разрыв, результатом которого становятся складки, рефлексия.

Такова по крайней мере версия Фуко о том новом, что внедрились в сознание греки. И версия эта, как нам представляется, очень важна, в силу как ее тщательной разработанности, так и внешней непритязательности. То, что сделали греки, было отнюдь не выявлением Бытия или развертывания Открытого во всемирно-историческом масштабе. Фуко сказал бы, что они сделали гораздо меньше или гораздо больше¹⁶. Это было сгибание внешнего на практике. Греки первые реализовали этот феномен подкладки—удвоения. То, что относится к внешнему, есть сила, поскольку она является прежде всего отношением с другими силами: сама по себе она неотделима от способности воздействовать на другие силы (спонтанность) и воспринимать воздействие других сил (восприимчивость). Но отсюда проистекают как раз *отношение силы к самой себе, способность ее воздействия на саму себя, воздействие самости на самость*. Согласно греческой диаграмме, только свободные люди могут господствовать над другими (“свободные агенты” с “агонистическими взаимоотношениями”, между ними и проявляются диаграмматические черты)¹⁷. Но как бы они могли господствовать над другими, если бы не управляли собой? Необходимо, чтобы господство над другими удваивалось господством над собой. Необходимо, чтобы обязательные правила власти дублировались факультативными правилами пользующегося ими свободного человека. Необходимо, что-

¹⁵ ИУ, 93—94.

¹⁶ Отсюда та решительность Фуко, с которой он дистанцируется в этом вопросе от Хайдеггера (нет, греки не “удивительные...”, ср. беседу с Барбеттом и Скалой в газете “Нувель” от 28 июня 1984 г.).

¹⁷ Диаграмма свойственных грекам сил, или отношений власти, не анализировалась самим Фуко. Дело в том, что он, возможно, высоко ценил то, что сделали в этой сфере такие современные историки, как Детьен, Вернан и Видаль-Наке. Их оригинальность в том и состоит, что они определили физическое и ментальное пространство греков в зависимости от нового типа властных отношений. С этой точки зрения важно показать, что “агонистические” взаимоотношения, на которые непрестанно намекает Фуко, представляют собой оригинальную функцию (которая, в частности, проявляется в любовном поведении).

бы из моральных кодексов, из которых то тут, то там (в полисе, в семье, в судах, в играх и т.д.) возникают диаграммы, выделился “субъект”, который оторвался бы от кодекса и уже не зависел бы от него в своей внутренней части. Именно это сделали греки: они согнули силу, которая при этом не перестала быть силой. Они соотнесли силу с ней самой. Отнюдь не игнорируя интериорность, индивидуальность, субъективность, они изобрели субъект, но как нечто производное, как продукт “субъективации”. Они обнаружили “эстетическое существование”, то есть подкладку, отношение с самим собой, факультативные правила свободного человека¹⁸. (Если мы не увидим этой производной как нового измерения, нам придется сказать, что субъективности у греков не было, особенно, если мы будем искать ее среди обязательных правил...¹⁹) Основополагающая идея Фуко состоит в том, что измерение субъективности является производным от власти и от знания, но не зависит от них.

В некотором роде именно “Использование удовольствий” представляет собой своего рода отрыв от предыдущих книг, причем сразу в нескольких отношениях. С одной стороны, в ней говорится о длительной временной протяженности, начавшейся с древних греков и продолжающейся до наших дней, проходя через христианство, тогда как в предыдущих книгах анализировались краткие периоды в промежутке между XVII и XIX веками. С другой стороны, в ней говорится об отношениях с собой как о новом измерении, не сводимом ни к отношениям власти, ни к отношениям знания, которые были предметом предыдущих книг. Иными словами, возникает и необходимость пересмотра всего прежнего ансамбля отношений. Наконец, здесь происходит разрыв с книгой “Воля к знанию”, в которой сексуаль-

¹⁸ О формировании субъекта, или “субъективации”, которую невозможно свести ни к какому кодексу, ИУ, 33—37; о сфере эстетического существования, 103—105. “Факультативные правила” — термин не Фуко, а Лабова; этот термин показался нам в высшей степени подходящим для определения статуса высказывания и для обозначения функций внутренних вариаций, а уже не констант. Теперь он обретает более обобщенный смысл, чтобы обозначить регулятивные функции, которые отличаются от кодов.

¹⁹ ИУ, 73.

ность рассматривалась и с точки зрения власти, и с точки зрения знания; теперь выдвинулась проблема отношения с самим собой, но связь с сексуальностью осталась непроясненной²⁰. В результате первый шаг по пути реорганизации всего ансамбля отношений, оказывается, состоит в том, чтобы выяснить, как отношение к себе устанавливает избирательные связи с сексуальностью, и это вызывает необходимость обновления проекта “истории сексуальности”? Ответ неизбежен: аналогично тому, как отношения власти утверждаются не иначе, как осуществляясь, так и изгибающие их отношения самости устанавливаются лишь путем самоосуществления. И устанавливаются или осуществляются они в рамках сексуальности. Возможно, не сразу — ведь образование внутреннего, интериорности изначально связано, скорее, с приемом пищи, нежели с сексуальностью²¹. Важно понять, что же способствует тому, что сексуальность постепенно “отрывается” от приема пищи и становится местом осуществления отношения к себе? Суть проблемы здесь в том, что сексуальность в том виде, как она переживалась греками, воплощает в женском начале воспринимающий элемент силы, а в мужском — элемент активный, или спонтанный²². А раз так, то отношения свободного мужчины к самому себе, как самоопределение, касаются сексуальности трояким образом: в простой форме “Диететики” удовольствий, что означает властвовать собой, чтобы быть способным активно управлять собственным телом; в сложной составной форме “Экономии”, или домостроения, т.е. уметь управлять самим собой, чтобы быть способным управлять супругой, и чтобы она сама достигла уровня должной восприимчивости; в раздвоенной форме “Эротики”, обращенной к мальчикам, что подразумевает умение властвовать собой ради того, чтобы мальчик также

²⁰ Фуко говорит, что он начал писать книгу о сексуальности (продолжение “Воли к знанию”, выстраивающееся вместе с ней в единую цепь), “затем, — отмечает Фуко, — я написал книгу о понятии самости и ее техниках, где сексуальность исчезла, и мне пришлось переписывать книгу в третий раз; в ней я попытался удержать равновесие между первой и второй книгами”. См. *Dreyfus et Rabinow*, p. 323.

²¹ ИУ, 61—62.

²² ИУ, 55—57.

научился властвовать собой, быть активным и сопротивляться власти других²³. Греки не только изобрели отношение к себе, они установили его связи, усложнили и расщепили их в рамках сексуальности. Короче говоря, у греков произошла должным образом обоснованная встреча между взаимоотношениями самости и сексуальностью.

Эти перераспределение и реорганизация происходят сами собой, по крайней мере, в течение длительного времени. Ведь отношение к себе не остается замкнутой зоной, заборонированной за свободным человеком и не зависящей ни от какой “институциональной и социальной системы”. Отношение к себе будет подхвачено отношениями власти и уловлено отношениями знания. Оно реинтегрируется в эти системы, от которых прежде начало отделяться. Внутренний индивидуум оказывается закодированным и перекодированным в “моральном” знании, а главное, он становится “ставкой” в игре власти, он диаграмматизируется. Складка, следовательно, как бы разглаживается, а субъективация свободного человека оборачивается подчиненностью: с одной стороны, это “подчинение другому через подконтрольность и зависимость” со всеми вводимыми властью процедурами индивидуализации и модуляции, направленными на повседневную жизнь и интериорность тех субъектов, кого власть назовет своими подданными; а с другой стороны, это “привязка (каждого) к своей собственной идентичности через сознание и самосознание”, со всеми техниками моральных и гуманитарных наук, которые образуют знание субъекта²⁴. Одновременно вокруг очагов власти организуется сексуальность; она дает повод к возникно-

²³ IIV, II, III и IIV (об “антиномии мальчика”, 243).

²⁴ *Dreyfus et Rabinow*, p. 302—304. Мы резюмируем здесь различные указания Фуко: а) мораль имеет два полюса — код и модус субъективации, но они обратно пропорциональны друг другу, и один из них не может интенсифицироваться без того, чтобы другой не ослабел (ИУ, 35—37); б) субъективация склонна снова превращаться в код и опустошается или затвердевает в пользу кода (это основная тема 3С); в) возникает новый тип власти, который берет на себя задачу индивидуализировать интериорность и проникнуть в нее: сначала это пастырская власть церкви, впоследствии государственная власть (*Dreyfus et Rabinow*, p. 305—306: этот текст Фуко сближается с анализами “индивидуализирующей и модулирующей власти” из НН).

вению “scientia sexualis” и интегрируется в инстанции “знание-власть” под названием Секс (тут Фуко близок к анализам из “Воли к знанию”).

Следует ли из этого, что новое измерение, созданное древними греками, исчезает, довольствуясь осями знания и власти? В каком смысле необходимо было бы вернуться к грекам ради обретения отношения к себе как к свободной индивидуальности? Очевидно, такого возврата не требуется вовсе. Отношение к себе, вопреки кодексам и властям, будет существовать всегда; это все то же взаимоотношение с собой, которое является одним из источников тех точек сопротивления, о которых мы говорили выше. К примеру, было бы неверно сводить христианскую мораль к усилиям по кодификации, которые она осуществляет, равно как и к пасторской власти, на которую она опирается, и не принимать при этом во внимание “духовных и аскетических движений” субъективации, непрерывно развивавшихся до Реформации (бывают и коллективные субъективации)²⁵. Недостаточно даже сказать, что последние (духовные и аскетические движения) сопротивляются первым; между ними осуществляется непрерывное общение то в форме борьбы, то в форме компромисса. Следовательно, необходимо допустить, что субъективация, отношение к себе формируются непрерывно, но при этом претерпевают метаморфозы, изменяют свои модусы до такой степени, что древнегреческий модус превращается в весьма отдаленное воспоминание. Поставленное под контроль отношениями власти и отношениями знания отношение к себе непрерывно возрождается в ином месте и в иной форме.

Наиболее общей формулой отношения к себе является воздействие *Я* на самого себя или сила, сложенная в складку. Субъективация происходит путем образования складок. Существует лишь четыре *складчатые зоны*, четыре складки субъективации, столько же, сколько рек в аду. Первая касается материального компонента нас самих, который окружается, охватывается складкой: у древних греков сюда относились тело и его удовольствия, “афродисиа”; у христиан это будут уже плоть и ее вожеления, а вожеление —

²⁵ ИП, 37.

это уже совершенно иная субстанциальная модальность. Вторая складка затрагивает соотношения сил в собственном смысле слова, потому что соотношения сил образуют складку, чтобы превратиться в отношение к себе, следуя только единственному правилу; разумеется, это не одно и то же, когда действующее правило является естественным, божественным, рациональным или эстетическим... Третья складка есть складка знания, или складка истины, поскольку она образует отношение истинного к нашей сущности и нашей сущности к истине, которая представляет собой формальное условие для всякого знания, для любого познания. Субъективация знания осуществляется совершенно по-разному у древних греков и у христиан, у Платона и у Декарта или Канта. Четвертая складка и есть складка самого внешнего, эта складка последняя: именно ее Бланшо называл “интериорностью ожидания”, именно от этого внешнего субъект в своих разных модусах ожидает бессмертия или вечности, спасения или свободы, а то и смерти, отрешенности... Четыре складки подобны конечной, формальной, действующей, материальной причинам, субъективности или интериорности как отношению к себе²⁶. Складки эти в высшей степени изменчивы, к тому же существуют в разных ритмах, а их вариации образуют неразложимые модусы субъективации. Действуют они, “обходя снизу кодексы и правила” знания и власти, хотя и с риском, что, разгладившись, сблизятся со знанием или властью; правда при этом будут образовываться другие складки.

И всякий раз отношение к самому себе тяготеет к встрече с сексуальностью сообразно той модальности, которая соответствует конкретному модусу субъективации: дело в том, что спонтанность и восприимчивость силы теперь распре-

²⁶ Мы систематизируем четыре аспекта, выделенные Фуко в ИУ, 32—39, (и у *Dreyfus et Rabinow*, p. 333—334). Фуко употребляет термин “подчинение” (*assujettissement*), чтобы обозначить второй аспект образования субъекта; но в данном случае этот термин наделяется иным смыслом, нежели подчинение субъекта отношениям власти. Третий аспект обладает особой значимостью, и его можно сблизить с соответствующей темой из “Слов и вещей”: в сущности, в СВ показано, каким образом жизнь, труд и язык вначале были объектом знания и лишь впоследствии обрели складку, чтобы сформировать более глубокую субъективность.

деляются не в зависимости от активной и пассивной роли, как у греков, а как у христиан, то есть совершенно иначе, в соответствии с бисексуальной структурой. Какие вариации с точки зрения обобщенного сопоставления существуют во взаимоотношениях между телом и удовольствиями у греков, и плотью и вождением у христиан? Может ли быть так, что в первой складке Платон ограничился телом и удовольствиями, а в третьей уже возвысился до Желания, замыкая истину на любящем и начиная новый процесс субъективации, приводящий к возникновению “вождеющего субъекта” (а уже не субъекта удовольствий)?²⁷ И что мы, наконец, скажем о наших современных модусах, о присущем современности отношении к себе? *Каковы четыре наши складки?* Если верно, что власть непрерывно все более проникала в нашу повседневную жизнь, в нашу интериорность и индивидуальность, если она все больше индивидуализировалась, если верно, что само знание непрестанно становилось все более индивидуальным, формируя герменевтики и кодификации вождеющего субъекта, то что же остается на долю нашей субъективности? Субъекту никогда ничего не “остается”, поскольку каждый раз он творится заново, как очаг сопротивления, сообразно ориентации складок, субъективирующих знание и изгибающих власть. Не обретет ли современная субъективность тело с его удовольствиями взамен вождения, слишком подчиненного Закону? Если это так, то это все же не является возвратом к древним грекам, поскольку возврата не бывает никогда²⁸. Борьба за современную субъективность происходит через сопротивление двум современным формам подчинения (*assujettissement*), одна из которых состоит в нашей

²⁷ ИУ, глава о Платоне, У.

²⁸ Уже в ВЗ продемонстрировано, что тело и его удовольствия, то есть “сексуальность без секса”, является современным способом “сопротивления” инстанции “Секса”, связывающего желание с законом. (208). Но если здесь и есть возврат к грекам, то только весьма частичный и двусмысленный: ибо тело с его удовольствиями отсылали у греков к агонистическим отношениям между свободными мужчинами, следовательно, к однополую “мужскому обществу”, исключаяющему женщин; мы же явно стремимся найти другой, присущий нашему социальному полю тип взаимоотношений. Ср. текст Фуко в: “*Dreyfus et Rabinow*”, р. 322—331 о псевдопонятии возврата.

индивидуализации, согласно требованиям власти, а другая — в закреплении за каждым индивидуумом раз и навсегда всеми определенной, известной и познанной самотождественности. В этом случае борьба за субъективность принимает вид права на несходство и вариативность, права на преобразование²⁹. (Коль скоро мы касаемся здесь неизданной рукописи “Признания плоти” и вообще последних направлений исследований Фуко, то количество рассматриваемых вопросов соответственно увеличивается.)

В “Использовании удовольствий” Фуко не обнаруживает субъекта. Фактически он уже определил его до этого как производную, как функцию высказывания. Но теперь, определяя его в условиях складки как производную от внешнего, он рассматривает его в полном объеме и одновременно как нередуцируемое измерение. Стало быть, у нас есть некоторые элементы для ответа на самый общий вопрос: как назвать это новое измерение, это отношение к себе, которое уже не является ни знанием, ни властью? Представляет ли воздействие на себя со стороны себя же удовольствие, или, точнее говоря, желание? Или же это “индивидуальное поведение” как проводник удовольствия или желания. Точный термин можно будет найти лишь в том случае, если мы заметим, до какой степени это третье измерение простирается в периоды большой длительности. Появление складки во внешнем может казаться присущим лишь западным формациям. Возможно, что Восток не дает такого феномена и линия внешнего остается там расплывчатой и пересекает непригодный для дыхания вакуум: в таком случае аскезу можно было бы счесть культурой самоуничтожения или же попыткой дышать в вакууме без производства такого специфического продукта, как субъективность³⁰. Похоже, что сгибание в складки сил возникает вместе с агонистическими взаимоотношениями между

²⁹ *Dreyfus et Rabinow*, p. 302—303.

³⁰ Фуко никогда не считал себя достаточно компетентным, чтобы анализировать восточные формации. Он делает лишь мимолетные намеки на китайскую “ars erotica”, подчеркивая ее отличия от нашей “scientia sexualis”, (ВЗ), и от чувственной жизни греков (ИУ). Вопрос можно сформулировать так: было ли характерно для восточных техник обращение к “Я” или к какому-либо процессу субъективации?

свободными людьми, то есть у древних греков. Именно тогда сила сгибается на месте "Я", входя во взаимоотношения с другими силами. Но если процесс субъективации мы возводим к древним грекам, то получается, что от нашего времени его отделяет период длительной временной протяженности. Эта хронология тем более примечательна, что Фуко смотрел на диаграммы власти как на места мутации, а архивы знания у него соответствуют коротким периодам³¹. Если мы спросим, зачем в "Использовании удовольствий" ему понадобилось внезапно заняться периодом большой длительности, то, возможно, простейшей причиной окажется следующая: мы быстро забываем прежнюю власть, которая больше не функционирует, и различные виды старого знания, уже не приносящие нам пользы; что же касается дел, связанных с моралью, мы продолжаем заваливать себя хламом стародавних верований, в которые даже уже и не верим, и воспроизводим сами себя в виде субъектов по старым модусам, которые уже не соответствуют нашим проблемам. Это заставило режиссера Антониони сказать: мы больны Эросом... Все происходит так, словно жизнь модусов субъективации оказалась долгой, мы продолжаем играть в древних греков или в христиан, отчего у нас и возникла такая любовь к возвратам к...

Однако, если копнуть глубже, то окажется, что есть здесь и нечто положительное. Дело в том, что сама складка, удвоение представляет собой своего рода Память, "абсолютную память", или память о внешнем, находящуюся по ту сторону короткой памяти, которая вписывается в страты и архивы, по ту сторону пережитков, еще обнаруживающихся в диаграммах. Уже эстетическое существование древних греков пробуждает прежде всего память для будущего, и очень скоро процессы субъективации начинают сопровождаться записями, из которых получают подлинные мемуары, "гипомнемата"³². Память — это подлинное название

³¹ О проблеме длительных и коротких периодов в истории, в связи с сериями, см. Braudel. *Ecrits sur l'histoire*. Flammarion. В АЗ, 15—16, Фуко продемонстрировал, что эпистемологические периоды всегда коротки.

³² НН, 75—84, и *Dreyfus et Rabinow*, р. 339—344 (о весьма переменчивой функции этой литературы о себе или такого рода мемуаров, сообразно характеру анализируемого процесса субъективации).

отношения к себе или воздействия на себя со стороны себя же. Согласно Канту, время есть форма, в которой дух воздействует сам на себя, подобно тому, как пространство — форма, в которой на дух воздействует нечто иное; следовательно, время представляет собой “самовоздействие” и образует основную структуру субъективности³³. Но время в качестве субъекта или, точнее, субъективация, называется памятью. Это не та короткая память, что приходит потом и противостоит забвению, а “абсолютная память”, которая дублирует настоящее, удваивает внешнее и составляет нечто единое с забвением, поскольку она является сама собой и без конца забывается, чтобы всякий раз заново пересоздаваться: ее складка на самом деле совпадает с разглаживанием, потому что последнее присутствует в первой в качестве того, что складывается. Только забвение (разглаживание) вновь обретает то, что складывается в памяти (в самой складке). Фуко в конце своей жизни заново открыл для себя Хайдеггера. Памяти противостоит не забвение, а забвение забвения, растворяющее нас во внешнем и образующее смерть. И наоборот, пока во внешнем имеется складка, внутреннее ему равнообъемно, как память равнообъемна забвению. Вот эта равнообъемность и составляет жизнь, протяженную длительность. Поскольку время есть складчатость внешнего, оно становится субъектом, и на этом основании способствует переходу всякого настоящего в забвение, но сохраняет все прошлое в памяти: забвение как невозможность возврата, а память как необходимость начинать все заново. Фуко долго представлял себе внешнее как конечную и более глубинную, нежели время, пространственность; последние его произведения вновь представляют возможность поместить время во внешнее и мыслить внешнее как время при наличии складки³⁴.

Именно в этом пункте и происходит неизбежное столкновение Фуко с Хайдеггером: “складка” преследовала Фуко

³³ Это одна из основных тем Хайдеггера в его толковании Канта. О последних заявлениях Фуко со ссылками на Хайдеггера см. “Les Nouvelles”, 28 июня 1984 г.

³⁴ Представляется, что именно темы Внешнего и экстерииорности вначале “навязывали” пространству приоритет над временем, о чем свидетельствуют еще СВ, 351/361.

на протяжении всего его творчества, но ее истинная значимость обнаруживается лишь в его последних работах. В чем сходства и различия между Фуко и Хайдеггером? Понять это можно лишь в том случае, если взять за отправную точку разрыв Фуко с феноменологией в “вульгарном” смысле слова, то есть с интенциональностью. Фуко не признает, что сознание нацелено на вещи и уведомляет о собственном присутствии в мире. В сущности, интенциональность служила для того, чтобы отбросить всякого рода психологизм и натурализм, но при этом она изобрела новый психологизм и натурализм, вплоть до того, что, как говорил Мерло-Понти, ее стало трудно отличить от “learning”. Она восстановила психологизм синтеза сознания и значений, натурализм “изначального опыта” и предмета невмешательства в существование предмета в мире. Этим и объясняется двойной отвод со стороны Фуко. Разумеется, пока все ограничивается словами и фразами, можно верить в интенциональность, посредством которой сознание на что-то нацеливается и тем самым себя обозначает (в качестве означающего); пока мы ограничиваемся предметами и состояниями предметов, можно верить в некий “изначальный опыт”, который позволяет предмету существовать, когда он проходит через сознание. Но “заключение в скобки”, которое предлагает феноменология, должно было бы преодолеть слова и фразы, ставя на их место *высказывания*, и преодолеть *предметы и положения предметов*, ставя на их место *видимости*. Между тем, высказывания ни на что не нацеливаются, потому что они ни с чем не соотносятся, более того, они и не выражают субъект, а просто отсылают к языку, к существу-языку, которое составляет им надлежащие и достаточные объекты и субъекты как имманентные переменные. Видимости же в “изначальном” мире, который впоследствии открылся бы первобытному (допредикативному) сознанию, не разворачиваются, а просто отсылают к свету, к существу-свету, которое наделяет их формами, пропорциями и собственно имманентными перспективами, свободными от какого бы то ни было интенционального взгляда³⁵. Ни язык, ни свет не анализируются с

³⁵ РР, 136—140.

точки зрения их соотношения друг с другом (обозначение, значение, языковое означивание; физическая среда, мир, данный в ощущении или интеллигибельный), а только в нередуцируемом измерении, которое выявляет их обоих, притом, что каждый из них (и язык, и свет) представляет собой нечто самодовлеющее и отделенное от другого: “есть нечто” световое и “есть нечто” языковое. Всякая интенциональность попадает в зазор между двумя монадами или в “не-взаимоотношения” между видением и говорением. В этом и заключается основное преобразование, осуществленное Фуко: феноменологию он превратил в эпистемологию. Ибо видеть и говорить — значит знать, но то, о чем говорят, не видят, и не говорят о том, что видят; и пока мы видим трубку, мы не перестанем говорить (на разные лады) “это не трубка...”, как если бы интенциональность сама себя отрицала и сама собой обволакивалась. Все есть знание, и в этом заключается первая причина того, почему изначального опыта не существует: нет ничего ни до знания, ни под ним. Но знание неизбежно имеет две стороны: видение и говорение, язык и свет, что и объясняет, почему никакой интенциональности не существует.

Вот тут-то все и начинается, так как феноменология, в свою очередь, желая избавиться от отягощающих ее психологизма и натурализма, сама выходит за пределы интенциональности как взаимосвязи сознания с его объектом (с сущим). У Хайдеггера, а затем и у Мерло-Понти трансцендирование интенционального свершилось в направлении Бытия, складки Бытия. От интенциональности к складке, от сущего к бытию, от феноменологии к онтологии. Ученики Хайдеггера научили нас тому, до какой степени онтология неотделима от складки, поскольку Бытие и есть та складка, которую оно образует при помощи сущего, а развертывание бытия, как изначальный жест древних греков, представляет собой не противоположность складке, но саму складку, стык Открытости, тождественность покрова и его снятия. Менее очевидным было то, как эта вмятина бытия, складка бытия и сущего заменила собой интенциональность, пусть даже для того, чтобы обосновать ее. Мерло-Понти показал, каким образом радикальная, “вертикальная”, видимость складывается в “Самовидящее” и таким образом делает возможными горизонтальные отношения видящего

и видимого. Внешнее, более отдаленное, нежели любая экстериорность, “скручивается”, “складывается”, “раздваивается” Внутренним, которое глубиннее всякой интериорности и делает возможными отношения интериорности с экстериорностью лишь как производные. Именно это скручивание и определяет “Плоть”, выходящую за рамки собственно тела и его объектов. Короче, интенциональность сущего трансцендирует сама себя по направлению к человеческому существу, к Бытию как к складке (Сартр, напротив, не пошел дальше интенциональности, так как он удовлетворялся просверливанием “дыр” в сущем, не доходя до складки существования). Интенциональность формируется еще в евклидовом пространстве, которое мешает ей понять саму себя, и потому следует выйти за его пределы в другое, “топологическое” пространство, которое устанавливает контакт Внешнего и Внутреннего, самого отдаленного и наиболее глубинного³⁶.

Нет сомнения, что мощное теоретическое вдохновение при рассмотрении неотступно преследовавшей его темы складки и подкладки Фуко черпал у Хайдеггера и Мерло-Понти. Но практическую реализацию этой темы он обнаружил у Реймона Русселя: последний воздвигал некую онтологическую Видимость, всегда готовую вот-вот “скрутиться” в своего рода “самовидящее”, в иное измерение, нежели измерение взгляда и его объектов³⁷. Таким же образом

³⁶ О Складке, переплетении или хиазме, об “обращении к себе зримого”, ср. *Мерло-Понти*, Зримое и незримое (*Merleau-Ponty M. Le visible et l'invisible. Gallimard*). А “рабочие заметки” настаивают на необходимости трансцендировать интенциональность по направлению к вертикальному измерению, формирующему особую топологию (263—264). Эта топология подразумевает у Мерло-Понти открытие “плоти” как места “выворачивания” (то же самое у Хайдеггера, согласно Дидье Франку, см.: *Didier Franck. Heidegger et le problème de l'espace. Ed. de Minuit*). Вот поэтому можно предположить, что анализ “Признаний плоти” в том виде, как Фуко проводит его в неизданной рукописи, в свою очередь, затрагивает проблему “складки” (воплощения) при подчеркивании христианского происхождения понятия плоти с точки зрения истории сексуальности.

³⁷ Текст РР, 136, с особой настойчивостью подчеркивает этот аспект, когда взгляд проходит через увеличенное стекло авторучки: “Внутренний праздник для бытия... видимость за пределами взгляда, и если мы доберемся до нее через линзу или виньетку, то для того, чтобы... поставить взгляд в скобки... бытие навязывает себя с избыточной безмятежностью...”.

можно было бы сопоставить Хайдеггера и Жарри в той мере, в какой *патафизика* по существу представляет собой трансцендирование метафизики, эксплицитно основанное на бытии феномена. Однако если мы посмотрим на Жарри или Русселя, как на примеры реализации философии Хайдеггера, то разве эти примеры не говорят о том, что складка разглажена и теперь оказалась в совершенно ином окружении и обрела иной смысл? Речь идет не о том, чтобы посягнуть на серьезность Хайдеггера, а о том, чтобы обнаружить невозмутимую серьезность у Русселя (или у Жарри). Для онтологической серьезности требуется дьявольский или феноменологический юмор. Ведь мы полагаем, что складка, равно как и подкладка у Фуко, выглядит совершенно по-новому, хотя и полностью сохраняет свое онтологическое значение. Прежде всего складка бытия, согласно Хайдеггеру или Мерло-Понти, трансцендирует интенциональность лишь для того, чтобы утвердить ее в ином измерении. Вот почему Зримое или Открытое не означает только видеть, не предлагая одновременно и говорить, поскольку складка не образует самовидящего в зрении, не конституируя одновременно и самоговорящего в языке, вплоть до того, что это один и тот же мир, который говорит о себе в языке и видит себя в зрении. И у Хайдеггера, и у Мерло-Понти Свет открывает говорение не в меньшей степени, чем зрение, словно значения неотступно преследуют зримое, а зримое бормочет смысл³⁸. У Фуко такое невозможно, поскольку у него Бытие-свет отсылает только к видимостям, а Бытие-язык — только к высказываниям: складка не может заново обосновать интенциональность, поскольку последняя исчезает в разрыве между двумя частями знания, которое никогда не бывает интенциональным.

Если знание сформировано этими двумя формами, а каждая из форм имеет и свои субъекты и свои объекты, то как возможна интенциональность субъекта по отношению к

³⁸ Согласно Хайдеггеру, *Lichtung* есть Открытость не только для света и зримого, но также и для голоса и звука. То же самое и у Мерло-Понти, 201—202. Фуко отвергает эти сцепления в целом.

объекту³⁹? И тем не менее взаимосвязи между двумя формами непременно должны возникнуть, причем возникнуть из их “не-взаимосвязей”. Знание есть бытие, это первый образ бытия, но бытие находится между двумя формами. Не то ли самое имел в виду Хайдеггер, говоря о “промежуточном состоянии”, а Мерло-Понти, говоря об “узурном переплетении, или хиазме”? Однако, по существу, это отнюдь не то же самое. У Мерло-Понти “узорные переплетения”, или “промежуточные состояния”, сливаются со складкой. А у Фуко — нет. Между зримым и высказываемым существует взаимопереплетение, взаимоперекрещивание: интенциональность заменяется платоновской моделью “тканья”. Это переплетение напоминает схватку, битву между двумя непримиримыми противниками, между двумя формами Бытия-знания. Если угодно, это тоже интенциональность, но обратного действия и разведенная по двум направлениям: она становится исчезающе малой или микроскопической. Это даже не складка бытия, а переплетение двух его форм. Это еще не топология складки, а стратегия переплетения. Все происходит так, как если бы Фуко упрекал Хайдеггера и Мерло-Понти за их торопливость. А у Русселя, в иной форме — у Бриссе, и еще в одной форме — у Магритта, Фуко находит то, что, кстати, мог бы обнаружить еще и у Жарри: аудио-визуальную битву, двойную схватку, шум слов, покоряющих зримое, и ярость вещей, одолевающих высказываемое⁴⁰. У Фуко всегда присутствовала галлюцинаторная тема Двойников и подкладки, в корне преобразующая онтологию.

Тем не менее, эта двойная схватка, образующая Бытие-знание, не смогла бы возникнуть в промежутке между дву-

³⁹ К примеру, не существует, такого “объекта”, как безумие, на которое было бы нацелено “сознание”. Однако безумие рассматривается разнообразными способами, и к этому разнообразию добавляется разнообразие высказываний, в зависимости от эпох и даже порогов одной и той же эпохи. Видят не одних и тех же безумцев, а высказываются не об одних и тех же болезнях. Ср. АЗ, 45—46/34-35.

⁴⁰ Наиболее яркую картину этой битвы Фуко обнаруживает у Бриссе: “Он пыгается вернуть слова породившим их шумам и возратить на сцену жесты, натиск и буйство, которые образуют собой нечто вроде ничего уже не говорящего герба”. (ЛГ, XV).

мя несводимыми друг к другу формами, если бы сцепление борющихся сторон не возникало из стихии, которая тоже неформальна, из чистого взаимодействия сил, возникающего в неодолимом разделении форм. Вот где лежит исток этой битвы или условие ее возможности. Вот где находится стратегическая зона власти, в отличие от стратовой зоны знания. От эпистемологии к стратегии. Другая причина, в силу которой “изначального” опыта не существует, заключается в том, что битвы подразумевают стратегию, а любой опыт улавливается в отношениях власти. Это второй облик бытия, “*Possess*”*, Бытие-власть, отличающееся от Бытия-знания. Это неформальные взаимодействия неформальных сил или власти, они устанавливают соотношения “между” двумя формами оформленного знания. Две формы Бытия-знания являются формами экстерииорности, так как высказывания распределяются в одной из них, а видимости — в другой; но Бытие-власть вводит нас в иную стихию — в неформируемое и неоформленное Внешнее, из которого исходят силы и их переменчивые сочетания. И сразу оказывается, что второй образ бытия — это еще не складка. Это, скорее, расплывчатая линия, к тому же не образующая контура, а значит, и не способная связать две формы в их столкновении друг с другом. Для Фуко всегда было характерно гераклитианство, более глубокое, чем у Хайдеггера, ибо феноменология в конечном счете оказывает чересчур умиротворяющее воздействие, она благословила слишком много явлений.

Таким образом, Фуко открывает элемент, исходящий извне, — силу. Как и Бланшо, Фуко говорит не столько об Открытом, сколько о Внешнем. Дело в том, что каждая сила соотносится с другой силой, но именно с внешней, так что именно внешнее “объясняет” экстерииорность форм, одновременно относительно каждой из них и в связи с их соотношениями. Отсюда важность заявления Фуко о том, что Хайдеггер всегда его восхищал, но что понять его он мог только через Ницше и с помощью Ницше (а не наоборот)⁴¹. Хайдеггер — это возможность Ницше, а не наоборот,

* «Ты можешь»

⁴¹ “Все мое становление как философа было обусловлено чтением Хайдеггера. Но я признаю, что Ницше одержал над ним победу...” (Les Nouvelles, p. 40).

и Ницше не дождался своей собственной возможности. Надо было обнаружить силу в ницшеанском смысле слова, власть — в столь характерном смысле “воли к власти”, чтобы обнаружить это внешнее в виде предела, в виде последнего горизонта, после которого бытие начинает образовывать складки. Хайдеггер слишком поторопился, он слишком быстро “согнул бытие”, а напрасно: отсюда глубокая двусмысленность его технической и политической онтологии, техники знания и политики власти. Складка бытия могла получиться только на уровне его третьего образа: может ли *сила* складываться, становясь результатом притяжения “Я” к самому себе или осуществляя воздействие “Я” на самого себя, так что внешнее само по себе формирует равнообъемное ему внутреннее? То, что сотворили греки, не было чудом. В Хайдеггере есть что-то от Ренана, идея света из Греции, идея греческого чуда⁴². Фуко говорит: греки сотворили гораздо меньше или гораздо больше, это уж как вам угодно. Они согнули силу, они открыли силу как то, что можно согнуть, и все это только посредством стратегии, поскольку они изобрели взаимодействие сил, проходившее через соперничество свободных мужчин (управлять другими при условии, что ты научился управлять собой...). Но, будучи силой среди других сил, человек не может сгибать составляющие его силы, чтобы при этом не сгибалось и само внешнее, образуя при этом в человеке углубление его “Я”. Вот она, складка бытия, возникающая как его третий облик после того, как формы уже переплелись, а битвы — завязались: в этом случае бытие формирует уже не “Sciest”* и не “Possest”, а “Se-est”** в той мере, в какой складка внешнего образует “Я”, а само внешнее — равнообъемное ему внутреннее. Чтобы добраться до онтологической складки, необходимо было пройти через это страто-стратегическое переплетение.

⁴² У Ренана интересно то, что “Молитва на Акрополе” представляет “греческое чудо” непременно в связи с воспоминанием, а воспоминание — в связи с не менее основополагающим забвением в структуре времени как скуки (идти окольным путем). Сам Зевс определяется через складку: он породил Мудрость, “после того, как замкнулся в самом себе (буквально: свернулся в самом себе — *прим. перев.*) и глубоко вздохнул”.

* «Ты знаешь»

** «Оно есть для себя»

Вот они, несводимые друг к другу, но постоянно друг друга подразумевающие три измерения: знание, власть и "Я". Это три "онтологии". Почему же Фуко добавляет, что они историчны⁴³? Потому что они не могут определять универсальные условия. Бытие-знание обуславливается двумя формами, которые принимают зримое и высказываемое в конкретный момент, а свет и язык неотделимы от "единичного и ограниченного существования", которое они ведут в конкретной страте. Бытие-власть обусловлено соотношениями сил, которые сами проходят через изменяющиеся с каждой эпохой сингулярности. А самость, бытие-Я, детерминируется процессом субъективации, то есть местами, через которые проходит складка (у древних греков нет ничего универсального). Короче говоря, условия никогда не бывают более обобщенными, нежели обусловленное, и значима в них именно присущая им историческая сингулярность. Вот почему условия не "аподиктичны", а проблематичны. Будучи условиями, они меняются не в зависимости от истории, а *вместе* с историей. По существу, они демонстрируют тот способ, каким ставится проблема в той или иной исторической формации: что я могу знать, или что я могу видеть и высказать в данных условиях света и языка? Что я могу сделать, на какую власть претендовать и какое оказать сопротивление? Чем я могу быть, какими складками себя окружить или как воспроизвести себя в качестве субъекта? На эти три вопроса "Я" намечает не универсальный ответ, а множество единичных позиций, занятых образованиями типа "Говорят-Видят", "Сталкиваются" и "Живут"⁴⁴. Ни одно решение невозможно перенести из одной эпохи в другую, но возможны вторжения на чужую территорию или взаимопроникновения проблематичных полей, способствующих тому, что "данные" из какой-нибудь стародавней проблемы реактивируются в другой проблеме. (Возможно, и в самом Фуко есть еще нечто от древнего грека, некое доверие к "проблематизации" удовольствий...)

⁴³ Ср. *Dreyfus et Rabinow*, p. 332.

⁴⁴ Эти три «проблемы» Фуко явно перекликаются с тремя кантовскими вопросами, см. ИУ, 12—19 и *Dreyfus et Rabinow*, p. 307 — где Фуко выражает восхищение Кантом за то, что тот поставил вопрос не только об универсальном субъекте, но еще и о том, "кто мы такие в данный конкретный исторический момент?".

В конечном счете единственную преемственную связь прошлого с настоящим осуществляет практика, или же, напротив, такой преемственной связью является способ, с помощью которого настоящее объясняет прошлое. *Если, скажем, интервью Фуко в полной мере являются частью его творчества*, то это происходит потому, что они продолжают историческую проблематизацию каждой из его книг, заостряя внимание на какой-либо одной актуальной проблеме, будь то безумие, наказание или сексуальность. Каковы новые типы борьбы, скорее трансверсальной и непосредственной, чем централизованной и опосредованной? Каковы новые функции “интеллектуала”, скорее специфического, или “единичного”, чем универсального? Каковы новые модулы субъективации, скорее, не имеющие тенденции к строгой идентификации субъекта? Вот в чем в наше время заключается тройной корень вопросов: *Что я могу? Что я знаю? Что я такое?* События, приведшие к 1968 году, напоминали “репетицию” этих трех вопросов⁴⁵. Каков сейчас наш свет и

⁴⁵ Если почитать некоторые статьи, то можно подумать что события 1968 года происходили в головах парижских интеллигентов. Следует напомнить, что они стали продуктом долгой череды событий во всем мире и целого ряда течений международной мысли, которые уже привязывали *возникновение новых форм борьбы к появлению новой субъективности*, пусть хотя бы в виде критики централизма и “качественных” (то есть касающихся “качества жизни”) протестов. Среди мировых событий можно вкратце упомянуть югославский эксперимент по самоуправлению, “Пражскую весну” и ее подавление, войну во Вьетнаме, алжирскую войну и проблему подпольных организаций, равно как и симптом появления “нового класса” (нового рабочего класса), нового сельскохозяйственного или студенческого синдикализма, центров так называемой институциональной психиатрии и педагогики... В сфере теоретической мысли следует, наверное, вернуться к Лукачу, чья “История и классовое сознание” уже ставила вопрос о новой субъективности; затем вспомнить Франкфуртскую школу, итальянский марксизм и первые ростки автономии (Тронти), околосартровские размышления о новом рабочем классе (Горц) и такие группы, как “Социализм или варварство”, “Ситуационизм”, “Коммунистический путь” (в частности Феликс Гваттари и “микropolitика желаний”). Течения мысли и события непрестанно накладывались друг на друга. После 1968 года Фуко лично начинает заниматься вопросом о новых формах борьбы (вместе с “Группой информации о тюрьмах” и борьбой заключенных за свои права) и в период написания НН разрабатывает “микрофизику власти”. Он вынужден был радикально переосмыслить роль интеллигента и заново сжиться с ней. Затем он в свою очередь дойдет и до вопроса о новой субъективности, информацию о которой он будет обрабатывать, начиная с ВЗ и вплоть до ИУ, на этот раз, в связи с американскими студенческими движениями протеста. О

каков язык, то есть какова наша сегодняшняя "истина"? С какими властями нужно сталкиваться и каковы наши способности к сопротивлению сегодня, когда мы не можем ограничиваться словами о том, что прежние типы борьбы больше не годятся? И, что самое главное, не присутствуем ли мы при "создании новой субъективности" и не участвуем ли мы в этом процессе? А разве мутации капитализма не обретают своего неожиданного "визави" в медленном зарождении новой Самости как очага сопротивления? Не сопровождаются ли всякий раз социальные мутации движением субъективной реконверсии со всеми ее амбивалентностями, но также и с заложенными в ней возможностями? Эти вопросы можно рассматривать как более важные, в том числе и для чистого права, нежели ссылки на универсальные права человека. У Фуко все представлено в виде переменных величин и процесса варьирования: переменные величины знания (к примеру, объекты и субъекты как имманентные переменные величины высказывания) и варьирование отношений между формами; переменные сингулярности власти и вариации отношений между силами; переменные субъективности и варьирование складки или субъективации.

Однако, несмотря на то, что условия не являются ни более обобщенными, ни более постоянными, чем ими обусловленное, Фуко интересуется именно условиями. Вот почему он говорит: "исторические исследования", но не "труд историка". Он создает не историю ментальностей, а историю условий, при которых проявляется все, что обладает ментальным существованием: высказывания и режим языка. Он создает не историю различных видов поведения, а историю условий, при которых в режиме света проявляется все, что обладает зримым существованием. Он создает не историю общественных институтов, а историю условий, при которых они интегрируют дифференциальные взаимодействия сил в горизонте социального поля. Он создает не историю частной жизни, а историю условий, при которых

связи между разными видами борьбы, интеллигентом и субъективностью, ср. анализ Фуко в: *Dreyfus et Rabinow*, 301—303. Интерес же Фуко к новым формам коллективов и сообществ, несомненно, был очень глубоким.

взаимоотношения с "Я" образуют конкретную частную жизнь. Он создает не историю субъектов, а историю процессов субъективации в условиях складок, обнаруживающихся в этом столь же онтологическом, сколь и социальном поле⁶. По правде говоря, одно явление неотступно преследует Фуко, и явление это — мысль: "Что значит «мыслить»? Что называют мышлением?" Хайдеггер выстрелил этим вопросом словно стрелой, а Фуко эту стрелу подхватил. Это история, но история мысли как таковой. Мыслить — означает экспериментировать и превращать все в проблемы. Знание, власть и "Я" образуют троякий корень проблематизации мысли. И прежде всего, если воспринимать знание как проблему, то мыслить означает видеть и говорить, но мышление происходит в промежутке, в зазоре между видением и говорением. Мыслить — означает всякий раз придумывать новое переплетение, всякий раз метать стрелу одного в мишень другого, заставляя блеск света отражаться в словах, позволять услышать крик в видимых вещах. Мыслить — означает способствовать тому, чтобы видение дошло до своего предела, а говорение — до своего, так, чтобы оба сформировали общую границу, одновременно соотносящую их друг с другом и отделяющую друг от друга.

Затем, с точки зрения власти как проблемы, мыслить — означает излучать сингулярности, бросать игральные кости. Бросание игровых костей выражает как раз то, что мысль всегда приходит извне (из того внешнего, которое уже либо провалилось в промежуток между говорением и видением, либо образовало их общий предел). Мышление не является ни врожденным, ни приобретенным свойством. Оно не представляет собой проявления какой-либо врожденной способности, но точно так же не является и результатом обучения, формирующимся во внешнем мире. Врожденному и приобретенному Арто противопоставил "генитальное", генитальность мысли как таковой, мысли, приходящей из внешнего, являющегося более отдаленным, чем весь внешний мир, и,

⁶ Ср. ПУ, 15. Наиболее глубокое исследование о Фуко, об истории и ее условиях принадлежит Полю Вейну: "Фуко революционизирует историю" в кн.: "Как пишут историю" (*Veigne P. Foucault révolutionne l'histoire // Comment on écrit l'histoire*, Ed. du Seuil, в частности, проблема "инвариантов").

следовательно, более близким, чем всякий внутренний мир. Следует ли называть это внешнее Случаем⁴⁷? По существу в броске игральных костей выражаются простейшие взаимоотношения сил или власти, те, что устанавливаются между выпавшими наудачу единичностями (числами на гранях костей). Взаимоотношения между силами в том виде, как их понимает Фуко, касаются не только людей, но и элементов, букв алфавита, как они выпадают: наудачу или же согласно их взаимному притяжению и частотностям их комбинаций в том или ином языке. Случай действует лишь в первом броске; возможно, второй бросок происходит в условиях, частично определяемых первым броском как в цепи Маркова, где возникает последовательность всякий раз частично заново образуемых цепочек. Вот оно, внешнее: линия, непрестанно нанизывающая следующие друг за другом розыгрыши в смеси алеаторного и зависимого. Следовательно, мышление принимает здесь новый образ: мыслить — это разыгрывать единичности, выстраивать цепочки розыгрышей и всякий раз создавать серии, которые проходят из области, смежной с одной единичностью, в область, соседствующую с другой единичностью. Существуют разные виды сингулярностей, всегда идущих из внешнего: сингулярности власти, включенные во взаимодействие сил; сингулярности сопротивления, которые подготавливают мутации, и даже *изначальные* сингулярности, которые остаются привязанными к внешнему, не входя ни в какие взаимосвязи и не позволяя себя ни во что интегрировать... (только тут эта "дикая" изначальность обретает какой-то смысл, но не как в опыте, а как то, что пока еще в этот опыт не входит)⁴⁸.

Все эти определения мысли уже сами по себе представ-

⁴⁷ Троица Ницше—Малларме—Арто упоминается в частности в конце СВ.

⁴⁸ Ср. ПД, 37, где Фуко упоминает некую "изначальную экстериорность" и приводит пример Менделя, который формировал биологические объекты, понятия и методы, не усваиваемые биологией его эпохи. Это никоим образом не противоречит положению о том, что не существует изначального опыта. Его нет, поскольку всякий опыт уже предполагает отношения знания и взаимоотношения властей. Между тем как раз изначальные единичности и оказываются отринутыми за пределы знания и власти, на "поля", так что наука не может их узнать: 35—37.

ляют собой оригинальные фигуры ее реализации. И в течение длительного времени Фуко полагал, что “мыслить” не может означать ничего иного. Например, каким образом “мыслить” может означать “изобретать некую мораль”, если мысль в себе самой не может найти ничего, кроме того самого внешнего, из которого она происходит и которое обитает в ней в качестве “немыслимого”? Это то “да будет”, которое заранее устраняет любой императив⁴⁹. Однако Фуко предчувствует появление какого-то странного “экстремального” образа: если внешнее, более отдаленное, чем какой бы то ни было внешний мир, является также более близким, чем всякий внутренний мир, то нет ли тут знака, что мысль воздействует сама на себя, обнаруживая внешнее как свое собственное немыслимое? “Пытаясь раскрыть немыслимое... она или приближает его к себе, или же отталкивает его прочь; во всяком случае она тем самым изменяет человеческое бытие, поскольку оно разворачивается именно в этом промежутке между мыслью и немыслимым⁵⁰. Это самовоздействие, это взаимопревращение отдаленного и ближнего будет приобретать у Фуко все большее значение, образуя *пространство внутреннего*, которое целиком и полностью наличествует в пространстве внешнего на линии его сгиба. Проблематичное немыслимое уступает место мыслящему существу, которое проблематизирует само себя в качестве этического субъекта (у Арто это “врожденное генитальное”, а у Фуко — встреча “Я” с сексуальностью). Мыслить — означает сгибать, удваивать внешнее равнообъемным ему внутренним. Общая топология мысли, которая началась уже “по соседству” с сингулярностями, теперь завершается складыванием внешнего во внутреннее: “внутри внешнее, и наоборот”, как было сказано в “Истории безумия”. Оказалось возможным продемонстрировать, что всякая организация (дифференциация и интеграция) предполагает первичную топологическую структуру абсолютно внешнего и абсолютно внутреннего, индуцирующую

⁴⁹ Сам Гуссерль писал, что в мысли присутствует некое “да будет”, подобное броску игральных костей или положению точки (*Husserl E. Idées... Gallimard, p. 414.*

⁵⁰ СВ, 338/348 (и комментарий о феноменологии Гуссерля, 336/346).

промежуточные между ними и относительные экстериорности и интериорности: любое пространство внутреннего с точки зрения топологии соприкасается с пространством внешнего, независимо от расстояний и вблизи пределов “живущего”; эта плотская, или жизненная топология, необъяснимая при помощи пространства, высвобождает время, конденсирующее прошлое во внутреннем, способствующее приходу будущего во внешнее и сталкивающее их у предела живого настоящего⁵¹. Теперь Фуко не только архивариус в духе Гоголя и картограф, подобный Чехову, но еще и тополог наподобие Белого, который в своем великом романе “Петербург” превращал мозговые складки в слияние внешнего и внутреннего: взаимоналожение города и мозга, которые теперь — только изнанка друг друга во вторичном пространстве. Именно таким образом — и тут он уже ничем не обязан Хайдеггеру — Фуко понимает подкладку, или складку. Если внутреннее образуется посредством формирования складок во внешнем, то между ними имеются топологические отношения: взаимоотношения с “Я” гомологичны взаимоотношениям с внешним, а “Я” и внешнее соприкасаются посредством страт, являющихся относительно внешними (следовательно, относительно внутренними) средами. Во внешнем у границы страт активно присутствует всякое внутреннее. Внутреннее конденсирует прошлое (большая длительность) отнюдь не континуально, а сталкивая его с будущим, которое приходит извне, изменяя и пересоздавая его. Мыслить — означает располагаться на страте в настоящем, играющем роль предела: что я могу сегодня видеть и что я могу сегодня сказать? Но это означает мыслить прошлое таким, как оно конденсируется во внутреннем, в отношении с “Я” (во мне есть что-то от древнего грека или же от христианина...). Мыслить о прошлом против настоящего, сопротивляться настоящему, причем не ради возврата, а “в пользу, я надеюсь, грядущего” (Ницше), то есть делая прошлое активным и присутствующим снаружи ради того, чтобы, в конце концов, наступило нечто новое, чтобы мышление непре-

⁵¹ Ср. *Simondon. L'individu et sa genèse physico-biologique*. P.U.F. p. 258—265.

менно добралось до мысли. Мысль мыслит собственную историю (прошрое), чтобы освободиться от того, что она мыслит (настоящее), и оказаться, наконец, в состоянии “мыслить иначе” (будущее)⁵². Именно это Бланшо называл “страстью к внешнему”, силу, которая тяготеет к внешнему лишь потому, что и само внешнее стало “интимностью”, “вторжением”⁵³. Три инстанции топологии являются относительно независимыми друг от друга и непрерывно находятся в состоянии взаимообмана. Стратам присуще непрестанное производство слоев, способствующих видению или говорению чего-то нового. Но для взаимоотношений с внешним характерно еще и постоянное сомнение в установившихся силах, а для взаимоотношений с “Я” также и порождение и выработка новых модусов субъективации. Творчество Фуко выстраивается в одну цепь с великими произведениями, изменившими наше представление о том, что значит “мыслить”.

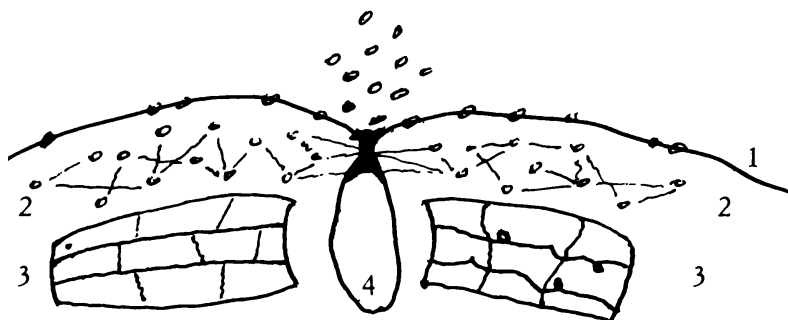


ДИАГРАММА ФУКО

1. Линия внешнего. 2. Стратегическая зона. 3. Страты. 4. Складка (зона субъективации).

“Я никогда не писал ничего, кроме художественной прозы...” Однако еще никогда художественное творчество не порождало столько истины и реальности. Как можно пересказать великий роман Фуко? Мир состоит из наложенных

⁵² Ср. ИУ, 15.

⁵³ Blanchot. L'entretien infini, p. 64—66.

одна на другую поверхностей, архивов или страт. Поэтому мир и есть знание. Но страты пересекает центральная трещина, которая разделяет с одной своей стороны визуальные картины, а с другой — звучащие кривые: на каждой страте — высказываемое и зримое, две не сводимые друг к другу формы знания: Свет и Язык, две обширные среды экстериорности, на которых располагаются соответственно видимости и высказывания. В результате мы вовлекаемся в двойное движение. Мы погружаемся то в одну страту, то в другую, переходим с полосы на полосу, пересекаем поверхности картины и кривые, исследуем трещину, пытаемся достичь внутренней области мира. Как писал Мелвилл, мы ищем главную комнату, боясь, что там, вдруг, никого не окажется, а в душе человека ничего не обнаружится, кроме безмерного и ужасающего вакуума (ну кому придет в голову искать жизнь в архивах?). В то же время мы пытаемся подняться над стратами, чтобы достичь внешнего, какой-то воздушной стихии, “нестратифицированной субстанции”, с помощью которой можно было бы объяснить, каким образом две формы знания могут теснить друг друга и переплетаться в каждой страте, от одного до другого края трещины. В противном случае как могли бы сообщаться две половины архива, высказывания — появляться под картинами, а картины — служить иллюстрациями к высказываниям?

Это неоформленное внешнее есть битва, оно похоже на зону турбулентности и урагана, где мечутся отдельные точки и завязываются отношения между ними. Страты лишь собирают и способствуют затвердению визуального краха и звучного эха разворачивающейся наверху битвы. Но наверху у сингулярностей нет формы, и они не являются ни зримыми телами, ни говорящими личностями. Мы входим в зону смутных двойников и частичных смертей, возникновений и исчезновений (зона Биша). Такова микрофизика. Мы находимся наверху, говорит Фолкнер, но уже не как личности, а подобно двум бабочкам-пяденицам или двум перьям, не видящих и не слышащих друг друга, “среди яростных и медленно рассеивающихся туч праха, который мы мечем друг в друга, вопя: “Смерть мерзавцам! Убей!

Убей!" Каждому состоянию атмосферы в этой зоне соответствуют своя диаграмма сил или же сингулярностей, вступивших во взаимоотношения: это и есть стратегия. Если страты принадлежат земле, то стратегия — воздуху или океану. Но стратегии свойственно актуализироваться в страте, диаграмме — в архиве, а нестратифицированной субстанции — стратифицироваться. Актуализироваться — это значит одновременно и интегрировать и дифференцироваться. Взаимодействия аморфных сил дифференцируются, создавая две разные формы: форму кривых, проходящих рядом с сингулярностями (высказываниями), и форму картин, распределяющих среди единичностей фигуры света (видимости). В то же время взаимодействия сил интегрируются как раз в рамках формальных отношений между высказываниями и видимостями, по обе стороны дифференциации. Дело в том, что для взаимодействия сил трещина не имеет значения, поскольку она начинается лишь внизу, в стратах. Взаимодействия сил способны как углубить трещину, актуализируясь в стратах, так и перескочить через нее сверху в обоих направлениях, дифференцируясь, но и не переставая интегрироваться.

Силы всегда происходят из внешнего, причем из внешнего более отдаленного, нежели любая форма экстериорности. Вот почему существуют не только сингулярности, вовлеченные во взаимоотношения между силами, но и сингулярности сопротивления, способные модифицировать эти отношения, опрокидывать их, видоизменять нестабильные диаграммы. Существуют также "изначальные, дикие", еще ни с чем не связанные сингулярности, находящиеся на самой линии внешнего и особенно сильно бурлящие над трещиной. Это ужасная линия, перемешивающая все диаграммы, даже поверх ураганов: линия Мелвилла с двумя незакрепленными концами, которая охватывает любое суденышко своими сложными изгибами, в какой-то момент начинает дико извиваться, и всегда есть риск, что она, убегая, унесет с собой человека; или же линия Мишо, "с тысячько отклонений", несущаяся со все возрастающей скоростью химических реакций, подобная "кнуту разгневанного ломового извозчика". Но какой бы ужасной ни была эта ли-

ния, она является линией жизни, которая не измеряется лишь только взаимоотношениями сил и которая уносит человека по ту сторону страха. Ведь в месте разлома линия делает петлю, где находится "центр циклона, где возможна жизнь, и даже это-то и есть Жизнь по преимуществу". Все происходит так, как если бы короткоживущие скорости, все увеличиваясь, образовывали "медлительное бытие" более длительной протяженности. Словно шишковидная железа, которая, непрестанно восстанавливаясь и меняя направление движения, очерчивает пространство внутреннего, равнообъемного всей линии внешнего. Наиболее отдаленное становится внутренним, превращаясь в более близкое: *это и есть жизнь в складках*. Это центральная комната, и мы уже не боимся, что она окажется пустой, поскольку мы вкладываем в нее "Я". Здесь, в этой зоне субъективации, мы становимся повелителями нашей скорости и носительными повелителями наших частиц и их сингулярностей: утлая ладья, как внутренняя часть экстериорного.

Приложение

О смерти человека и о сверхчеловеке

Основной принцип Фуко заключается в следующем: всякая форма есть соотношение сил. Если даны силы, то сразу возникает вопрос, с какими силами они вступают во взаимодействие, а затем — какая форма из этого получается. Предположим, что силы находятся в человеке: сила воображения, способность помнить, постигать, хотеть... Нам возразят, что такие силы уже предполагают существование человека; с точки зрения формы это неверно. Силы в человеке подразумевают лишь только определенные места, точки приложения, некую область существующего. Точно так же силы в животном (подвижность, раздражимость...) еще не предполагают никакой детерминированной формы. Речь идет о том, чтобы узнать, с какими иными силами вступают во взаимодействие силы в человеке при той или иной исторической формации и какая форма получается из этого сочетания сил. Можно уже предвидеть, что силы в человеке не обязательно участвуют в образовании формы-Человека, но могут участвовать в ином составе, в иной форме: даже на протяжении краткого периода Человек существовал не всегда и не всегда будет существовать. Для того чтобы форма-Человек возникла или обрисовалась, необходимо, чтобы силы в человеке вступили во взаимоотношения с весьма специфическими силами внешнего.

I. "Классическая" историческая формация

Классическую мысль можно узнать по ее способу мыслить бесконечное. Дело в том, что всякая реальность, входящая в состав какой-либо силы, "равняется" совершенству, следовательно, возвышаема до бесконечного (бесконечно совершенного), а остальное является ограничением, и ничем иным, кроме ограничения. Например, силу понимания можно увеличивать до бесконечности, и тогда получается, что человеческое понимание представляет собой лишь ограничение бесконечного понимания. Не вызывает сомнения, что существуют весьма различные порядки бесконечности, но все они соответствуют природе ограничения, отягощающего ту или иную силу. Сила понимания может быть возвышена до бесконечности непосредственным образом, а вот сила воображения способна лишь на бесконечность низшего порядка, или на производную бесконечность. XVII веку известны различия между бесконечным и неопределенным, но он характеризует неопределенное как низшую степень бесконечности. Вопрос знания, является ли протяженность атрибутом Бога или нет, зависит от распределения того, что в протяженности является реальностью и что — ограничением, то есть относится к такому порядку бесконечного, до которого протяженность можно возвышать. Следовательно, наиболее типичные тексты XVII века касаются различия порядков бесконечности: бесконечность величия и бесконечность малости по Паскалю; бесконечное-из-себя, бесконечное, порожденное своей причиной, и бесконечное между двумя пределами по Спинозе; все виды бесконечного у Лейбница... Классическая мысль, разумеется, не является мыслью спокойной и властной: она непрестанно пропадает в бесконечности; как писал Мишель Серр, она утрачивает и какой бы то ни было центр, и свою территорию, она в тоске судорожно пытается зафиксировать место конечного среди всех этих бесконечностей, она желает навести порядок в бесконечности¹.

Короче говоря, силы в человеке вступают во взаимоотношения с силами возвышения до бесконечного. Послед-

¹ Serres M. Le système de Leibniz, P.U.F., II, 648—657.

ние являются силами из внешнего, поскольку человек ограничен и сам не может отдать себе отчет в той более совершенной мощи, которая его пересекает. Вот почему сочетание сил в человеке, с одной стороны, и сил возвышения до бесконечного, с которыми они сталкиваются, с другой, образуют не форму-Человека, а форму-Бога. Нам возражат, что Бог — это не сочетание, а абсолютное и непостижимое единство. Это так, и все же для авторов XVII века форма-Бог является составной. И составлена она как раз из всех тех сил, которые можно непосредственным образом возвысить до бесконечности (то из постижения и воли, то из мысли и протяженности и т.д.). Что же касается прочих сил, возвышаемых только по их причине или между их пределами, то они еще зависят от формы-Бога, — и не по сути, а по последствиям, так что из каждой из них можно извлечь доказательство бытия Божия (космологическое, физико-телеологическое и прочие доказательства...). Таким образом, в пределах классической исторической формации силы в человеке вступают во взаимоотношения с такими силами из внешнего, что их сочетание образует форму-Бога, а вовсе не форму-Человека. Таков мир бесконечной репрезентации.

На уровнях производных порядков речь идет о том, чтобы отыскать элемент, который не является бесконечным сам по себе, но который, тем не менее, обладает способностью развертываться до бесконечности и тем самым вписывается в таблицу, в неограниченную серию, в продлеваемый континуум. Такова примета классических типов научности даже и в XVIII веке: “характер” для живых существ, “корень” для языков, деньги (или земля) для богатств². Науки подобного рода являются общими, и слово “общий” указывает на некий порядок бесконечности. Вот почему в XVII веке нет биологии, но есть естественная история, которая формирует систему, организуясь в серии; нет политической экономии, но есть анализ богатств; нет филологии или лингвистики, но есть всеобщая грамматика. Анализы Фуко детализируют этот троякий аспект и именно здесь находят подлинные места классификации выска-

² СВ, гл. IV, V, VI.

зываний. В соответствии со своим методом Фуко выявляет “археологическую почву” классической мысли, порождающую разные типы неожиданного сходства, но также и опровергающую слишком уж напрашивающееся родство. К примеру, не следует делать из Ламарка предшественника Дарвина: хотя и верно, что гений Ламарка заключается в том, что он разными способами наделяет живые существа историчностью, делает он это все еще с точки зрения “животной серии” и ради спасения идеи серии, которой угрожали новые факторы. В отличие от Дарвина, Ламарк принадлежит к классической “почве”³. С функциональной точки зрения эту почву определяет, образуя крупное семейство высказываний, называемых классическими, именно операция развертывания до бесконечности, формирования континуумов, выстраивания картин: развертывать, постоянно развертывать — “объяснять”. Что такое Бог, как не всеобщее объяснение, как не наиболее яркий пример развертывания? *Развертка*, разворачивание складки предстает здесь, как основополагающее понятие, как первейший аспект действенной мысли, воплощенной в классической формации. Отсюда столь частое употребление слова “развертка” у Фуко. Если клиника принадлежит к этой формации, то происходит это потому, что она развертывает ткани на “двухмерных поверхностях” и выстраивает в серии симптомы, количество сочетаний которых бесконечно⁴.

II. Историческая формация XIX века

Мутация состоит в следующем: силы в человеке вступают в новые отношения с силами из внешнего, которые являются конечными силами. Эти силы суть Жизнь, Труд и Язык. Таков тройной корень конечности, которая порождает биологию, политическую экономию и лингвистику. И мы, в общем, привыкли к этой археологической мутации: зачастую этот переворот возводят к Канту, у которого “фор-

³ СВ, 243/252. Образцовое исследование Додена “Классы в зоологии и идея животной серии” продемонстрировало, как развертывалась по сериям классификация в классическую эпоху.

⁴ РК, 119, 138.

мирующая конечность” заменила изначальную бесконечность⁵. Что может быть более невразумительного для классической эпохи, чем формообразующая конечность? Фуко, однако, вносит в эту схему совершенно новый элемент: если до сих пор нам говорили только о том, что человек осознает собственную конечность под влиянием исторически обусловливаемых причин, то Фуко настаивает на необходимости введения двух четко ограниченных друг от друга моментов. Необходимо, чтобы сила в человеке начала свою схватку с силами конечности как с внешними силами: она должна столкнуться с конечностью за пределами самой себя. После этого и только после этого, во второй период, она творит из нее собственную конечность, неизбежно осознавая ее как собственную конечность. А это равнозначно утверждению, что когда силы в человеке вступают во взаимоотношения с пришедшими извне силами конечности, то тогда и только тогда совокупность сил начинает образовывать форму-Человека (а уже не форму-Бога). *Incipit Homo**.

Именно здесь метод анализа высказываний оказывается тем микроанализом, при помощи которого можно различить два периода там, где прежде видели лишь один⁶. Первый период состоит в следующем: нечто взламывает серии, дробит континуумы, которые уже не разворачиваются на плоскости. Это похоже на пришествие нового измерения, какой-то нередуцируемой глубины, угрожающей порядкам бесконечной репрезентации. Начиная с Жюссье, Вик де’Азира и Ламарка, координация и субординация свойств в растении или животном, словом, сила организации, обуславливает такое распределение организмов, при котором они

⁵ Эта тема обрела наиболее законченное выражение в книге Вюймана «Кантовское наследие и коперниковская революция» (*Vuillèmin. L’héritage kantien et la révolution copernicienne. P.U.F.*

* Начинается человек.

⁶ В СВ Фуко постоянно напоминает о необходимости различать два периода, однако последние не всегда определяются одним и тем же способом: то — в узком смысле — присущую им историчность получают вещи, а человек обретает эту историчность уже во второй период (380—381/390—391); то — в более широком смысле — сначала изменяются “конфигурации”, а затем — их “модус бытия” (233/243).

уже не выстраиваются в один ряд, но обретают тенденцию развиваться изолированно (на той же тенденции делает акцент патологическая анатомия, когда она открывает органическую глубину, или “патологический объем”). Начиная с Джонса, сила флексии изменяет порядок корней. А начиная с Адама Смита сила труда (абстрактный труд, труд какой угодно, понимаемый уже не с точки зрения какого-либо одного из своих качеств) изменяет порядок анализа богатств. Дело не в том, что организация, флективность и труд не были известны классической эпохе. Однако они играли роль ограничений, не препятствовавших соответствующим качествам хотя бы де-юре возвышаться или разворачиваться до бесконечности. Теперь же они осовободились от своей качественности, чтобы углубить нечто неквалифицируемое, неспособное к репрезентации, что с равным успехом может быть и смертью в жизни, и муками или усталостью в труде, и заиканием или афазией в языке. Даже земля обнаруживает столь существенную для нее скупость и лишается своего, казалось бы очевидного, порядка бесконечности⁷.

И вот тут все уже готово ко второму моменту, к появлению биологии, политической экономии и лингвистики. Достаточно того, чтобы вещи, живые существа и слова *замкнулись* на этой глубине, как в новом измерении, чтобы они *ограничились* этими силами конечности. Теперь в жизни существует не только сила организации; возникают еще и несводимые друг к другу пространственно-временные плоскости организации, сообразно которым распределяются живые существа (Кювье). Теперь и в языке существует не только сила флексии; возникают еще и плоскости, согласно которым дистрибуируются аффиксальные или же флективные языки, самодостаточность слов и букв уступает место звуковым соотношениям, а сам язык определяется уже не через его обозначения и значения, но через отсылку к “коллективным волям” (Бопп, Шлегель). Теперь существует не только сила производительного труда, но еще и условия производства, в соответствии с которыми сам труд переориентируется в капитал (Рикардо), а затем, наоборот, капитал проецируется на экспроприиро-

⁷ СВ, 268.

ванный труд (Маркс). Повсюду сравнительное заменяет столь дорогое XVII веку всеобщее: сравнительная анатомия, сравнительная филология, сравнительная экономика. И объясняется это тем, что, по терминологии Фуко, теперь повсюду господствует *Складка*, второй аспект оперативной мысли, воплотившийся в формации XIX века. Силы в человеке поворачивают или сгибаются, встречаясь с новым измерением конечности в глубину, которое теперь становится и конечностью самого человека. Складка, — непрерывно повторяет Фуко, — это то, что образует “толщину” или “выемку”.

Чтобы лучше понять, как складка становится фундаментальной категорией, достаточно обратиться к рождению биологии. Тут мы обнаружим все, что подтверждает правоту Фуко (и годится также и для других сфер). Когда Кювье предлагает различать четыре крупнейшие “ветви”, он не поднимается в своих обобщениях выше родов и классов, напротив, он настаивает на разломах, не позволяющих континууму видов группироваться по все более расширяющимся общностям. Разветвления или организационные планы приводят в действие оси, ориентации, разные виды динамизма, к которым все живое так или иначе приспосабливается, складываясь. Вот почему работа Кювье продолжается в сравнительной эмбриологии Бэра, где за основу взяты складки зародышевых листков. Когда же Жоффруа Сент-Илер противопоставляет организационным планам Кювье идею одного-единственного композиционного плана, то он опять же обращается к методу складывания: мы перейдем от позвоночного к головноному, если сблизим между собой две части его позвоночника, если придвинем его голову к ногам, а таз — к затылку...⁸. Жоффруа принадлежит к той же “археологической почве”, что и Кювье (сообразно предложенному Фуко методу анализа высказываний), потому что оба говорят о складке: один — как о третьем измерении, делающем невозможным плоскостной переход от одного типа к другому, другой — как о третьем измерении, осу-

⁸ См.: *Жоффруа Сент-Илер. Принципы зоологической философии* (где содержится полемика с Кювье по поводу “складывания”) (*Geoffroy Saint-Hilaire. Principes de philosophie zoologique*).

ществляющем переходы в глубину. Кроме того, общей чертой Кювье, Жоффруа и Бэра является противостояние эволюционизму. Однако Дарвин построит свою теорию естественного отбора на способности всего живого в конкретной среде к дивергенции характеров и углублению различий. Именно потому, что живые существа складываются по-разному (тенденция к дивергенции), их максимальное количество может выжить в одной и той же местности. Так что Дарвин принадлежит все еще к тому же лагерю, что и Кювье, и оба они противостоят Ламарку в той мере, в какой тот основывает свой эволюционизм на невозможности конвергирования и на обвале серийных континуумов⁹.

Если складка и разглаживание питают не только концепции Фуко, но и его стиль, то причина этого кроется в том, что они образуют археологию мысли. Возможно, не столь уж и удивительно, что встреча Фуко с Хайдеггером происходит как раз на этой территории. Речь идет, скорее, о встрече, чем о влиянии, в той мере, в какой происхождение, применение и предназначение складки и разглаживания у Фуко и у Хайдеггера различны. Согласно Фуко, речь идет о таких соотношениях сил, при которых региональные силы сталкиваются то с силами возвышения до бесконечного (разглаживание), так что вместе они образуют форму-Бога, — то с силами конечного (складка), вместе составляя форму-Человека. Это не столько хайдеггеровская, сколько ницшеанская история, история, возвращающая к Ницше, или возвращающая к жизни. “Бытие существует лишь потому, что существует жизнь... Таким образом, именно опыт жизни выступает как самый общий закон живых существ... однако онтология эта обнаруживает вовсе не то, что лежит в основе всех этих существ, но скорее то, что облекает их на мгновение в столь хрупкую форму...”¹⁰.

⁹ О большом “прорыве”, осуществленном Кювье. Ламарк принадлежал еще к классической парадигме естественной истории, тогда как Кювье сделал возможной историю живых существ, которую создаст впоследствии Дарвин: СВ, 287—289/297—299 и 307/318 (“биологическая теория эволюции предполагает в качестве условия своей возможности чуждую нашей эволюции биологию Кювье”).

¹⁰ СВ, 291/303 (этот текст, возникший в связи с возникновением биологии в XIX веке, по нашему мнению, обладает первостепеннейшей важностью и выражает один из постоянных аспектов мысли Фуко).

III. К формации будущего?

То, что всякая форма бrenна, не вызывает сомнения, поскольку она зависит от соотношений сил и их мутации. Из Ницше делают философа, провозгласившего смерть Бога, и тем самым искажают его мысль. Последним философом смерти Бога был Фейербах: он показал, что поскольку Бог всегда был всего лишь разглаженной формой человека, то человек должен сгибать и свертывать Бога. Но для Ницше это уже была старая история; а поскольку старые истории всегда существуют во множестве вариантов, Ницше и приумножает количество версий смерти Бога, как вариации на тему общепризнанного факта, причем все они комичны или юмористичны. Но что его действительно интересует, так это смерть человека. Пока существует Бог, то есть пока функционирует форма-Бог, человека еще нет. Однако когда появляется форма-Человек, она появляется уже понимая смерть человека, причем по меньшей мере тремя способами. С одной стороны, где человек в отсутствие Бога мог бы обнаружить гаранта своей идентичности?¹¹ С другой стороны, разве сама форма-Человек образуется не в складках конечности: в человека она влагает смерть (и, как мы видели, не столько в духе Хайдеггера, сколько в духе Биша, который мыслил о смерти в модусе “насильственной смерти”)¹². Наконец сами силы конечности способствуют тому, чтобы человек мог существовать только через рассредоточивание планов организации жизни, через рассеивание языков, через несходство способов производства, которые

¹¹ На этом положении настаивает Клоссовски в работе “Ницше и порочный круг” (*Klossowski P. Nietzsche et le cercle vicieux. Mercure de France.*).

¹² С классической концепцией смерти, как мы видели, порывает именно Биша, переставший видеть в ней неделимое мгновение (подхваченная Сартром формула Мальро: смерть есть то, что “превращает жизнь в судьбу”, принадлежит все еще классической концепции). Вот три важных нововведения Биша: постулирование смерти как сущности, равнообъемной жизни; превращение смерти в глобальный результат совокупности частичных смертей; а главное, принятие в качестве модели “насильственной смерти” вместо “естественной смерти” (о доводах в пользу последнего утверждения см.: *Bichat. Recherches physiologique sur la vie et la mort. Gauthier-Villars, p. 160—166.* Книга Биша представляет собой первый акт в создании современной концепции смерти.

подразумевают, что только “критика познания” является “онтологией уничтожения живых существ” (не только палеонтологией, но и этнологией)¹³. Но что имеет в виду Фуко, когда говорит, что по смерти человека не о чем плакать?¹⁴ В самом деле, была ли эта форма хорошей? Сумела ли она обогатить или хотя бы сохранить силы в человеке: силу жизни, силу языка и силу труда? Уберегла ли она живых людей от насильственной смерти? Следовательно, без конца повторяющийся вопрос звучит так: если силы в человеке образуют форму не иначе, как вступая во взаимоотношения с силами внешнего, то с какими новыми силами рискуют они вступить в отношения теперь, и какая новая форма, которая уже не будет ни Богом, ни Человеком, может из этого получиться? Вот правильная постановка проблемы, которую Ницше назвал “сверхчеловеком”.

Это проблема, при разборе которой можно удовлетвориться лишь весьма сдержанными соображениями, чтобы не опуститься до уровня комикса. Фуко подобен Ницше: он в состоянии указать лишь наброски и пока еще не функциональные, а в эмбриологическом смысле¹⁵. Ницше писал: человек заключил жизнь в темницу, сверхчеловек есть то, что освобождает жизнь *в самом человеке* в пользу иной формы... Фуко приводит весьма серьезное соображение: если верно, что лингвистика гуманистического XIX века образовалась на основе рассеивания языков как условия “выравнивания языка” в роли объекта, то тогда же наметился и контрудар в той мере, в какой литература приняла на себя совершенно новую функцию, состоявшую, *напротив*, в “собираании” языка, в придании ценности “сущности языка” независимо от того, что он обозначает, и, следовательно, независимо даже от самих звуков¹⁶. Любопытно как раз то, что в своем прекрасном анализе новой литературы Фуко наделяет язык той привилегией, в которой отказывает жизни и труду: он считает, что жизнь и труд — вопреки их дисперсии, сопутствующей дисперсии языка,

¹³ Ср. СВ, 291/303.

¹⁴ ЧТА: 291, “сдержим слезы”.

¹⁵ СВ, 397—398/402—403.

¹⁶ СВ, 309, 313, 316—318, 395—397 (о персонажах новой литературы как “опыте смерти..., немислимой мысли..., повторения..., конечности...”).

не утратили собранности своего бытия¹⁷. Нам все же кажется, что труд и жизнь, взятые в присущей каждому из них дисперсии, смогли собраться лишь в своего рода отрыве от экономики и биологии, подобно тому, как язык смог начать собираться лишь в отрыве литературы от лингвистики. Потребовалось, чтобы биология совершила скачок в молекулярную биологию, а рассеянная жизнь сосредоточилась в генетическом коде. Необходимо было, чтобы рассеянный труд собрался или перегруппировался в кибернетических или информатических машинах третьего поколения. Какими могут быть те силы-участницы, с которыми силы в человеке могли бы в этом случае завязывать взаимоотношения? Это, пожалуй, уже не будет ни возвышение до бесконечного, ни конечное, а будет конечно-неограниченное, как можно назвать всякую ситуацию с участием силы, где ограниченное число составных частей дает практически неограниченное количество сочетаний. Оперативный механизм теперь, видимо, будет формироваться не за счет складки или разглаживания, а при помощи чего-то, напоминающего *Сверх-складку*, о которой свидетельствуют изгибы, присущие цепочкам генетического кода, возможности кремния в компьютерах третьего поколения, а также контуры фразы в литературе модерна, когда языку “только и остается, что загнуться в вечной оглядке на себя”. Это новая литература, которая выдалбливает “иностраный язык в своем языке”, которая, проходя через неограниченное количество наложенных друг на друга грамматических конструкций, обнаруживает свое тяготение к атипичной, аграмматичной выразительности, словно к концу языка (среди прочего здесь, к примеру, можно отметить “Книгу” Малларме, повторы Пеги, выдохи Арто, аграмматичности Каммингса, особым образом обрезанные и сложенные в “гармошку” сочинения Берроуза, размножающиеся посредством деления фразы Русселя, новообразования Бриссе, коллажи дадаистов...) Впрочем, разве “конечно-неограниченное” или сверхскладку не вычерчивал уже Ницше, назвав их “вечным возвращением”?

¹⁷ О причинах этого особого положения языка, согласно Фуко, СВ, с одной стороны, 306—307/316—317, с другой стороны, 315—316/325—326.

Силы в человеке вступают в отношения с силами внешнего: с силой кремния, берущего реванш над углеродом, с силами генетических компонентов, берущих реванш над организмом, с силой аграмматичности, берущих реванш над означающим. Следовало бы изучить со всех этих точек зрения различные виды воздействия сверхскладки, из которых наиболее известен “двойной винт”. Так что же такое сверхчеловек? Это формальное соединение новых сил с силами внутри человека. Это форма, проистекающая из новых взаимоотношений сил. Человек тяготеет к тому, чтобы освободить в самом себе жизнь, труд и язык. Сверхчеловек — это, согласно формуле Рембо, человек заряженный даже животными (код, который может захватить фрагменты других кодов, как это происходит в новых схемах “боковой” или ретроградной эволюции). Это человек, заряженный даже горными породами, или же неорганикой (где властвует кремний). Это человек, заряженный бытием языка (“той бесформенной, немой, не наделенной значениями области, где язык может освободиться” даже от того, что он должен сказать)¹⁸. Как сказал бы Фуко, сверхчеловек — это нечто гораздо меньшее, чем исчезновение существующих людей, и нечто гораздо большее, чем изменение понятия: это пришествие новой формы, не Бога и не человека, и можно надеяться, что она не будет хуже двух предыдущих.

¹⁸ СВ, 395. В письме Рембо упоминаются не только язык и литература, но и еще два других аспекта: человек будущего заряжен новым языком, но, кроме этого, даже животным и бесформенным (*Рембо А. Письмо Поллю Демени//Плеяда*, 255).

Научное издание

Жиль Делёз

ФУКО

Перевод с французского
Е.В. Семиной

Редактор *Л.Б. Комиссарова*
Художник *О.Г. Платова*
Компьютерный набор и верстка
Н.П. Ильичева, С.В. Киселева
Корректор *Н.Н. Новикова*

Сдано в набор 31.07.97. Подписано в печать 23.10.97.
Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1.
Гарнитура "Таймс". Печать офсетная.
Усл-печ. л. 10,75. Уч.-изд. л. 9,63. Тираж 10 000 экз.
Заказ 221

Издательство гуманитарной литературы
(лицензия ЛР № 062452 от 23 марта 1993 г.)
117049, Москва, Крымский вал, 8.

Типография ООО "Пандора-1"
107143, Москва, Открытое шоссе, 28.